

«Проза нашего времени»





ЖАН  
Д'ОРМЕССОН  
УСЛАДЫ  
БОЖЬЕЙ РАДИ

УДК 82.06  
ББК 84(4Фр)  
067

*Jean d'Ormesson. Au plaisir de Dieu. Éditions Gallimard, 1974*

*Ouvrage publié avec l'aide du Ministère français chargé  
de la Culture — Centre national du livre*

*Издание осуществлено с помощью Министерства культуры  
Франции (Национального центра книги)*

*Перевод с французского В. А. Никитина*

*Дизайн — Александр Архутик*

### **Д'Ормессон, Жан**

067 Услады Божьей ради: Роман / Пер. с фр. В. А. Никитина. — М.: Этерна, 2009. — 592 с. — (Современная зарубежная проза).

ISBN 978-5-480-00155-6 (Россия)

Жан Лефевр д'Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы.

В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.

**УДК 82.06**  
**ББК 84(4Фр)**

© Éditions Gallimard, 1974

© В. А. Никитин, перевод,  
2009

© Палимпсест, 2009

© Издательство «Этерна»,  
оформление, 2009

ISBN 978-5-480-00155-6  
(Россия)

ISBN 2-07-037243-X  
(Франция)

*Памяти отца моего,  
либерала, янсениста, республиканца,  
и памяти моего дядюшки Владимира,  
которому услада Божья  
не позволила читать эту книгу*

Так говорит Господь:  
Вот, что я построил, разрушу,  
и что насадил, искореню — вся эту землю.  
А ты просишь себе великого: не проси...

*Иеремия, 45, 4.*

Все это прошло,  
Как тень, как ветер!  
*Виктор Гюго*

О, дворец! О, весна!  
Чья душа без пятна?  
О, дворец! О, весна!  
Чудесам учусь у счастья,  
Каждый ждет его участия.

*Артур Рембо*

Смотри, как я меняюсь!  
*Поль Валери*

Какие книги стоят того,  
чтобы их писали, кроме мемуаров?  
*Андре Мальро*



# ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

---

## I

### ЕЛЕАЗАР, ИЛИ СЕДАЯ ДРЕВНОСТЬ

Наследственность — единственный бог,  
имя которого мы знаем.

*Оскар Уайльд*

Я родился в мире, повернутом лицом назад. Прошлое ценилось там выше будущего. Деда я помню красивым, осанистым стариком, который жил воспоминаниями. Его мать танцевала во дворце Тюильри с герцогом Немурским, с князем Жуэновильским и с герцогом Омальским, а моя бабушка вальсировала в Компьене с сыном императора. При этом весь мой древний род, невзирая на все несчастья, баррикады, осады и победы бунтарей, был всегда искренне предан только законной монархии. Ему ничего не говорили милые разным пророкам «поющие завтра». Золотой век с той сладостной жизнью, легенды о которой дошли до нас, как приглушенное эхо, и которой так и не увидели те из

нас, кто был помоложе, воспринимался всеми нами как нечто оставшееся позади.

Среди нас, или, скорее, как-то немного над нами витал дух отсутствовавшего молчаливого персонажа — короля. Иногда по вечерам старейшие в роду еще рассказывали нам о нем как о незапятнаншем себя и очень добром господине, доверием которого временами злоупотребляли недостойные слуги. Пять-шесть раз на протяжении каждого века король говорил кому-нибудь из прадедов — маршалу или генералу, или первому президенту, двоюродному прадеду, или губернатору Лангедока, или какой-нибудь ветреной двоюродной бабушке — несколько незначительных слов о том о сем, которые потом без устали повторялись из уст в уста. И так нам было радостно от этих слов, что мы порой придумывали другие, все новые и новые. Мы были старинной семьей. Я довольно рано стал задумываться над значением этого довольно загадочного выражения. Спрашивал у дедушки, не было ли, случайно, семей более старинных, чем наша, не было ли времен особо древних, охраняемых, возможно, ангелами с огненными мечами, когда мои предки гуляли одни, а других еще не было, и они появились откуда-то позже. Нет, на самом деле все семьи были одинаково древними. У каждого человека были отец и мать, два деда и две бабушки, по четыре прадеда и четыре прабабушки. Но при этом от некоторых из предков остались некоторые следы их пребывания на этом свете. Так я узнал, чем мы обязаны памяти о предках.

Прошлое представлялось мне прекрасным лесом, где, переплетаясь, уходили в бесконечность ветви деревьев, тянущихся до наших дней. Часто за ужином отец начинал рассказывать о неизвестных мне дядюшках, тетюшках и двоюродных братьях.



Имена их путались у меня в голове. Целый мир пребывал в некоей меланхоличной и счастливой радости, от которой голова шла кругом. Еще задолго до чтения Бальзака и Пруста тени моего собственного прошлого нередко заставляли меня задумываться о приключениях людей.

Внезапно в истории возникла моя семья. Она резко появилась из тьмы небытия. Королю, а может, брату короля пришла в голову гениальная мысль взять с собой в крестовый поход на Восток первого представителя нашего рода, тем и прославившегося. Какой прекрасный дебют в свете! Ужасные пытки, головы, разлетающиеся на мелкие осколки черепа, чума и проказа — все это связано с именем Елеазара, нашего родоначальника, маршала веры и рати Господней. Люди, маниакально преданные истине, которая всегда относительна и менялась на протяжении истории, старались внушить мне, что великий Елеазар, гордость нашего рода, был несказанным, а может быть, и отъявленным мерзавцем. Похоже, его не очень-то уважали в окрестностях Дамаска, Тира и Сидона. Тетушки же мои поминали его в своих молитвах наравне со святыми угодниками и ангелами-хранителями. В общем, я довольно скоро понял, что история обманчива и что легенды скрывают правду.

Мир начинался с Елеазара. До него все пребывало во мраке, ибо мы еще не родились. Я, конечно, понимал, что у Елеазара тоже были отец и мать, два деда и две бабки, а также четыре прадеда и еще четыре прабабки. Но их как бы не существовало, поскольку их имена неизвестны. Для нас имели смысл только те вещи и люди, у которых были названия и имена. Ведь в именах и названиях уже заключалась идея порядка и иерархии, приверженцами которой

мы были. Кстати, одной из причин, среди многих других, нашей недоверчивости по отношению к евреям являлось то, что непонятно по какой причине им случалось порой менять родовое имя. Нам казалось, что поменять фамилию значило нарушить порядок вещей. Ведь даже Всевышний, создав мир, первым делом дал названия растениям и животным, дал имя первому мужчине и первой женщине. Бога мы упрекали только в одном: он не дал нашу фамилию Адаму и Еве. Соответственно, нас несколько раздражало их притязание на первородство. Мировая история до нашего появления не имела большого значения. Впрочем, она была не слишком продолжительной. Из хороших книг мы узнали, что длилась она всего каких-нибудь там пять или шесть тысяч лет. Этого было вполне достаточно для тех малоинтересных эпох, где мы еще не фигурировали.

Впрочем, по причинам, нами не понятым, древние греки и римляне были нашими предками. Мы узнавали себя в них, в их благовоспитанной жестокости, в светской наглости, в несколько чванливом чувстве превосходства, и между нами установилось далекое родство: дядя Алкивиад и дядя Регул. Мы не вдавались в туманные теории, согласно которым чистота расы зависит от принадлежности к германским племенам. Всякого рода умствования у нас были не в чести. У нас был ясный рассудок, и здравомыслие мы почитали выше гениальности, а средиземноморский свет и солнце — выше нордических туманов. Мыслители ценились у нас не слишком высоко. Мы любили художников, архитекторов, воинов и священников. Дедушка мой не бывал ни в Риме, ни в Афинах, но говорил о них так, будто прожил в них всю жизнь. Марий был, по его мнению, немножко пройдохой, мы стыдились Верреса, но Плутарх и Сулла, Перикл и все

Горации, в том числе поэт, всегда были старыми друзьями нашей семьи. Этих людей мы бы повстречали, если бы жили в ту эпоху. Но очаровательная простота и уважение к истине позволили нам родиться лишь в эпоху Крестовых походов.

Мы произошли, вперемешку и издалека, от строителей Акрополя, от легионеров Цезаря и от еврея-революционера, чью фамилию мы обожали почти так же, как нашу собственную. Еще одна тайна: это был единственный революционер, которого мы принимали, которого мы даже звали себе в учителя. Всех остальных как бы и не было. Зачем нам были нужны всякие ацтеки и инки, вошедшие в бурную историю позже нас? Мы знали, конечно, что существуют негры, эскимосы и разные представители желтой расы, но мы их никогда не видели. Пришлось дожидаться Колониальной выставки, чтобы моя двоюродная бабушка увидела, наконец, воочию настоящего негра. Кстати, она осталась от него в восторге. И все-таки было невозможно себе представить, что эти люди устроены совсем так же, как мы. Неслучайно ведь Господь, обычно такой снисходительный, наделил их такой внешностью. И даже американцы представлялись нам всего лишь дурно воспитанными большими детьми, о которых трудно было говорить без улыбки. Прабабушка моего дедушки, оставившая после себя мемуары, часто цитировала Шамфора, Ривароля, госпожу де Сталь, Шатобриана. Но ни словом не обмолвилась о Бенджамине Франклине, хотя и встречала его, о чем нам известно из достоверных источников, в Версале. Дедушка мой следовал этому примеру и временами делал вид, будто забыл, что Америка уже не является английской колонией. Он недолюбливал англичан, но еще больше опасал-

ся той подозрительной поспешности, с какой колонии стараются освободиться от своих хозяев. «Это такая молодая нация...» — мечтательно говорила о Соединенных Штатах наша соседка по имению, старавшаяся идти в ногу со временем. «Плохо только то,— отвечал мой дед,— что эта нация молодеет с каждым днем». И добавлял, что если бы он оказался на месте Христофора Колумба, то он ни за что никому бы не сказал, что открыл Америку. Только одна нация, кроме нашей, была достойна внимания, а то и некоторого уважения: это были китайцы. Они изобрели порох, компас, фейерверки, воздушных змеев, отчего в мандаринах, испокон века соблюдавших незыблемые традиции, можно было видеть своего рода ученых коллег, ироничных, немногословных и весьма удаленных от нас неких то ли сообщников, то ли родственников, чей культ предков и закоренелый индивидуализм на веки вечные оградил их от революционных угроз, начавших нависать над Западом еще во времена Лютера и Кромвеля.

У нас был самый что ни на есть простой образ жизни, где главное место занимали мессы, псовая охота, культ белого флага и родовитость. Ничего удивительного в таком образе жизни мы не видели: слишком давно он установился, и ничего иного мы просто не могли себе представить. Но достаточно мне вспомнить какое-нибудь время года, день и час этого совсем вроде бы светлого существования, чтобы тут же осознать всю плотность тайн, скрывавшихся за этой прозрачностью. Понадобилось очень много времени, чтобы все стало таким легким. Понадобилось много страданий, много пота и крови, чтобы я мог весело кататься на велосипеде по аллеям вокруг большого каменного здания с башнями и дозорными дорожками, которое мест-

ные жители называли замком. И они были правы. Это был всем замкам замок.

Нам казалось совершенно естественным жить в замке. Здесь родился мой отец, и его отец, и отец его отца. Из поколения в поколение мы здесь рождались и возвращались умирать. Один из братьев моего прадеда был на протяжении долгих лет невероятным и очаровательным мошенником. Благочестивого уничтожения чудом избежали лишь одна-две его фотографии. Он дюжинами продавал не принадлежавшие ему дома, корабли, скаковых лошадей, а то и женщин. Захватив с собой приданое сразу трех девиц, разумеется, девиц из высшего общества, он укатил в Южную Америку. Рассказывали, что его матушка, святая женщина, узнав об этом, умерла от горя. Как и все ее предки, она умерла в Плесси-ле-Водрёе. А через несколько лет он и сам вернулся из Аргентины, вернулся по своей воле, не опасаясь ни полиции, ни кредиторов, ни отцов и братьев своих невест, и почил в Господе, который только тем и занимался, что прощал нам наши преступления, наши безумства и ошибки. Так вот и организовывались вокруг нас наше пространство и наше время. Время, которое текло в обратном направлении только к своим истокам. А пространство имело своим центром колыбель нашего рода, куда мы и возвращались умирать.

Как вы сами понимаете, замок моего отца и деда, его отца и его деда и их прадедов на протяжении веков и поколений наполнялся завещанным имуществом. Комодами-склепами, цилиндрическими секретерами с круглой крышкой, столами с инкрустацией и лакированными столиками самой разной конфигурации и назначения, с ящичками и без оных, опускающимися и поднимающимися по

желанию, коврами и гобеленами из Обюсона и Фландрии, портретами предков в рост при всех регалиях, небрежно опирающихся одной рукой на письменный стол, с письмом в руке, на котором четко выделялось священное слово: «Королю». Все это и еще много-много другого, что загромождало анфилады чердачных помещений, полных пыли и огромных сундуков, куда нам запрещалось прятаться и где за паутиной скрывались привидения предков, все это наносилось поколениями, сменявшими друг друга, подобно морским волнам. Продавать и покупать считалось занятием подозрительным, неосторожным и вульгарным. Монтень где-то хвалится, что ничего не приобретал и ничего не промотал. Мы тоже никогда ничего не покупали и никогда ничего не продавали. Все накапливалось постепенно в результате бракосочетаний и кончин, из приданых и завещанного. Мы тут были ни при чем — такие формы принимала наша элегантность. Наше богатство, как и наше имя, уходило во тьму веков.

Каждая нация, каждая семья, каждый человек живет мифом, украшающим его существование. Нашим мифом был замок. В нашей повседневной жизни замок играл огромную роль. Наверное, можно сказать, что он был воплощением нашей фамилии. Нечто священное связывало их. Наша фамилия как бы окаменела. Это были не просто стены, башни, огромный внутренний двор, спиральные лестницы, по которым король Франциск I поднялся верхом на коне, когда вернулся из плена в Павии, не просто рвы, заполненные водой, где плескались карпы, помнившие еще золотые деньки легитимной монархии. К замку еще прилегал поля и леса, создававшие ему прекрасное обрамление. Время от времени дедушка поднимался со мной на самую вы-

сокую башню. Замок возвышался над всеми окрестностями. Стояла прекрасная погода. Он показывал мне богатства, дарованные нам веками. Вдали виднелись Сен-Полен и Руаси. Вильнёв и кладбище в Русете, где нас всех хоронили. Бабушка любила повторять, что это исконно французская земля, а дедушка добавлял, что именно такие края воспели Ронсар, Лафонтен и Пеги. Я смотрел. Смотрел и видел милые сердцу поля, деревья и холмы. Этот уголок Франции принадлежал нам.

После Бога, короля и нашей фамилии был еще один персонаж, порой склонный к буйству, который тоже, случалось, навещался в наш замок: это была Франция. Наши отношения с ней были довольно двусмысленными. Естественно, Франция была менее древней, чем наше родовое имя. Она была менее древней, чем король, скроивший ее из разных кусков. И была она также менее древней, чем Господь Бог. Но еще до великой бойни начала этого века один из моих дядюшек и два кузена отдали за нее жизнь не то на рисовых полях в Азии, не то в африканских песках. С Францией нас соединял не брачный союз. Мы были повенчаны с монархией и Церковью. А современная Франция была для нас чем-то вроде старой любовницы, к которой привязываешься лишь со временем, после многих бурных сцен и искупительных жертв, поскольку король уже не было, надо было как-то с ней поладить. Мы не очень-то жаловали ни господина Тьера, ни Гамбетту, которого дедушка упорно величал Гранбетой, не лучше относились мы и к Робеспьеру и Жану Жаку Руссо. Впрочем, были в истории Франции и такие прекрасные дни, как времена маршала Мак-Магона и герцогини Юзес, чьи прогулки по Булонскому лесу даже столько лет спустя оставались

излюбленной темой летних бесед под старыми липами, где вся семья собиралась пить кофе. Мы говорили о Франции столько всякого дурного, сколько было в наших силах, но при этом считалось хорошим тоном отпраляться куда-нибудь погибать у нее на службе. Умереть за то, что заменяло собой короля, было в наших глазах скорее привычкой и ремеслом, чем проявлением любви или чувства долга.

К сожалению, Францию захватила Республика. Сомкнем же ряды, Полиньяк, Буланже, полковник Анри, Жюль Леметр, Леон Доде, Шарль Моррас! Сомкнем наши ряды, Шамбор, под нашим белым знаменем! Дед мой, во имя Франции, настоящей, другой Франции, содержал, для войны с Республикой, крохотную полуподпольную армию, лишь отдаленно напоминавшую о великолепии монархии и доблести шуанов: дюжину гимнастов, маршировавших под звуки своих горнов в День святой Жанны д'Арк. Однажды вечером, не знаю уж, по какому-то несчастному стечению обстоятельств, к моему деду приехал некий министр Республики. Войдя в гостиную, тот заметил валявшуюся на столе газету. В силу естественного, вполне простительного любопытства он не удержался и развернул газету, а развернув, увидел, что это была «Аксон франсез», ежедневно печатавшая оскорбительные материалы о нем, подвергая сомнению его нравственные устои, его финансовую честность и его способности.

— Ага! — воскликнул министр. — Вы читаете эту гадость?

— Ежедневно, — отвечал дедушка.

— Как отвлекающее средство? — спросил министр.

— Нет, сударь, как укрепляющее!



Вопрос этот не обсуждался: мы умирали за Францию. Но хотя мы и находились в одном лагере с националистами, она не была нашей родиной. В Богемии, в Польше, в Баден-Вюртемберге, в Шлезвиг-Гольштейне, в Бельгии, в Италии, в Вене, в Москве и в Одессе мы чувствовали себя так же дома, как и во Франции, а то и в большей степени. Отец мой говорил, что Церковь, пианисты, евреи, социалисты и мы не имеем отечества. Войны, религиозные преследования, женитьбы и случайности разбросали нашу семью по всей Европе. Одна ветвь семьи, английская, произносила нашу фамилию с невероятным акцентом, итальянские родственники просто прибавили к нашей священной фамилии неаполитанское «о» на конце, а русская ветвь, поехавшая в Одессу за герцогом Ришелье, женилась там всякий раз на эрцгерцогинях, неизменно немках по происхождению, да еще на целой веренице актрис, неизменно француженок, из знаменитого Михайловского театра. Однако особо примечательной оказалась германская ветвь.

Один из моих двоюродных прапрадедушек, не то в двенадцатом, не то в пятнадцатом поколении, женился на сестре адмирала де Колиньи, отчего все его родственники приняли протестантство. Их было довольно много, и всех их перерезали в ночь святого Варфоломея, за исключением одного ребенка, трехмесячного младенца по имени Анри, которого спасла его кормилица, продержав три часа в подвешенном состоянии в широкой каминной трубе, и который, к счастью, не задохнулся там, поскольку в ту августовскую ночь была такая жара, что у пьяных солдат не возникло даже и тени желания разжечь огонь. Луи, внук Анри, после отмены Нантского эдикта уехал в Германию. В войнах, которые вели Наполеон, Бисмарк, Вильгельм и Гит-

лер, погибли бесчисленные правнуки и внуки правнуков того Анри. Впрочем, добрая дюжина их все же уцелела, и в начале двадцатого века они еще продолжали с варварской элегантностью сражаться на дуэлях, изучать филологию в Гейдельберге и Тюбингене и жениться на дочках Круппа.

В наших глазах все члены этой германской ветви были окружены ореолом таинственности. Мы никогда не знали ни где они жили, ни какого цвета у них были паспорта. Они обитали где-то между равнинами Силезии и горами Богемии, их можно было встретить также в Мариенбаде, равно как и в Шварцвальде, во дворцах и замках Восточной Пруссии и на берегах Рейна, а также в Венеции и в Палермо, где их через их жен связывали фантастические воспоминания об императоре Фридрихе II и о Гогенштауфенах. В ноябре 1918 года брат моего дедушки, в ту пору подполковник при штабе маршала Фоша, с удивлением увидел, как из длинного черного «мерседеса», прибывшего на переговоры о перемирии, вылез германский вице-адмирал Балтийского флота, носивший нашу фамилию: это был дядюшка Рупрект. А его сын, Юлиус Отто, впоследствии нелучшим образом прославился во время националистских бунтов в Германии. Он боролся против коммунистов, сначала вместе с Каппом и генералом фон Лютвицем, потом — с генералом Людендорфом и с писателем Эрнстом фон Саломоном, автором «Изгоев», «Кадетов» и «Анкеты». Юлиус Отто на протяжении всех 30-х годов был последовательным соратником Гитлера, ему все же удалось закончить жизнь героически: ему отрубили голову и в таком виде повесили после того, как он вместе со своим кузеном, полковником графом Штауфенбергом, подложил 20 июля 1944 года под рабочий стол фюрера, в Растенбурге, кожаный портфель с бомбой.

Вот так, через стены замка и простирившиеся за ними леса, общались мы с окружающим миром. Один из секретов нашей старинной семьи заключался в том, что в этом уединенном уголке французской земли, где мы жили в обществе кюре, горничных и псарей, она как бы воскрешала среди нас всю полуживую Европу и целый мир, уже ушедший в небытие. Все, что когда-то составляло нашу силу и придавало блеск нашему присутствию при дворе в Вене или в Версале, в салонах Лондона или Рима, в военных лагерях и на полях сражений, в монастырях и соборах, на просторах морей всего мира, удалялось все быстрее и быстрее во мрак глубокой ночи. Какие-то кусочки его нам еще удавалось восстанавливать благодаря воспоминаниям и родственным связям. Воспоминания сохранились ясными, а родственные связи были блистательными. Они позволяли нам обманываться на собственный счет. От того, что каждый вечер мы воображали, будто ужинаем с регентом и кронпринцем, с кардиналом де Роганом и князем Меттернихом, со всем тем, что осталось на этой земле от Мальбруков и Юсуповых, мы могли продолжать убеждать себя, что наше имя по-прежнему находится в центре мировых событий. В общем, существование наше было мечтательным и поистине поэтичным. Мы жили очень далеко от самих себя и во времени, и в пространстве. И мы были не одиноки по вечерам в большом, слабо освещенном салоне в окружении не имеющей цены мебели, под портретами маршала, спасшего двух королей, и прабабушки, лишившей невинности трех других. Старый замок был переполнен тенью тех, кого давно уж нет в живых.

Следует, однако, отметить, что эти выходы из прошлых времен, мой отец, мой дед, мои дядья во-

все не воображали из себя бог знает что. Буквально по отношению ко всем они проявляли обезоруживающую вежливость. Я никогда не слышал, чтобы они повышали голос. С совершенно одинаковой почтительностью они обращались и к его преосвященству архиепископу, когда он раз в год в связи с конфирмацией оказывал нам честь, оставаясь ночевать в голубой спальне, и к дочерям охранников или фермеров в Ла-Палюше. В личном плане мои родственники отнюдь не были гордецами. Всю свою гордость они приберегали для нашей семьи в целом. Может быть, значительная часть того, что я буду рассказывать, объясняется той довольно скромной ролью, какую играли отдельные личности в нашей коллективной жизни. Любой из нас сам по себе ничего не значил. Значил лишь наш род, начавшийся в один прекрасный день почти одновременно с историей и продолжавшийся по всему миру, принимая самые разные формы, облачаясь в разных странах в униформы противостоящих друг другу лагерей, причем, по замечательной случайности, одновременно в разные далеко отстоящие друг от друга эпохи. Мы по-своему доказывали победу расы над личностью, коллектива над индивидуумом, истории над случайностью. Надо было продолжать, вот и все. Не следовало обрывать нить. Не надо было ронять свое достоинство. Надо было сохранять свое лицо, свое место. Но это всегда было просто место среди прочих мест. Личная судьба обретала смысл лишь в великой фреске времен. История долгим раскладыванием пасьянса, составлением головоломки, в которую каждый из нас добавлял несколько деталей, была коллективной, упорной игрой, в которой желание блеснуть одному мало что давало. В конце 20-х годов мой двою-

родный брат Пьер часто играл в регби с ирландцами-католиками. Он говорил, что эта игра напоминала ему семью: в командной игре индивидуальное достижение достается всей команде, и важно не столько отличиться одному, сколько выиграть всем вместе. И никогда не делать передач вперед. И мяч нашей семьи тоже летел всегда только назад.

Должен я сказать и несколько слов о деньгах, поскольку нынче все, как бедные, так и богатые, большую часть времени занимаются их поисками. А для нас вроде бы их и вовсе не существовало именно потому, что они у нас были. Но никто и никогда не осмелился бы о них говорить. И уж тем более зарабатывать их. Подобно чахотке, раку и венерическим болезням, деньги были объектом лечения, заключавшегося в том, что их первым делом погружали в небытие. Такое умолчание делало образ мира несколько смутным, но совершенно очаровательным. Позже, к тому времени, когда начинаются эти воспоминания, деньги совершили триумфальное появление в нашей жизни — вместе с великолепной Габриель, или Габи, женой моего дядюшки Поля. Под окнами замка, в тени старых лип, пришли в движение миллионы и миллионы. Это были предвестники финальной катастрофы, нечто похожее на неожиданное и обманчивое выздоровление больного перед фатальным исходом. Но классическая эпоха не ведала проблемы денег. Они появлялись, и все. Никто из нас не смог бы сказать, каким таинственным образом они превращались в новую черепицу на крыше, в балы-маскарады для кузенов и кузин из Англии, в псовые охоты дважды в неделю в течение полугода.

Этими фантастическими превращениями занимался очень важный персонаж, вступивший в свою должность довольно молодым, а умерший глубо-

ким старцем, в начале новых времен. Звали его господином Дебуа, и он был нашим интендантом. Если у псарей фамилии менялись так, чтобы хотя бы немного напоминать их род деятельности, наивные люди удивлялись такому разумному совпадению, то нашего эконома всегда звали Дебуа\*. Так уж имя действительно было дано самой судьбой. Тут деньги появлялись не от игры на скачках, не от торговли наркотиками или женщинами — не считая случая с аргентинским дядюшкой,— не от промышленности, не от коммерции и не от биржевых спекуляций. Деньги приносили земля и дома, но прежде всего — леса. Поля, леса, каменные карьеры покорно несли дань в руки господина Дебуа, превращаясь затем в кучеров, лакеев, поваров, садовников. Это было так просто — быть богатым! Нам принадлежала немалая часть земель департамента Верхняя Сарта, самого маленького во Франции, а также несколько домов в разных местах в Париже, на улице Монсо, на авеню Мессины и рядом с ними. Позже я узнал, что в юности Пруст был жильцом нашего дома номер 102 на бульваре Осман и что поддерживать наше существование нам помогали два академика, один чемпион мира по боксу в абсолютной категории и три министра республики, в том числе один социалист. Я уж не говорю о мошенниках и куртизанках: даже сам Дебуа и тот никогда не мог назвать точную цифру.

Конечно, время от времени мы выезжали в Париж. К этому городу мы испытывали сильное недоверие и презрение. Тут имело место нечто противоположное тому, что случилось с Жюльеном Сорелем или Эженом де Растиньяком. Те ехали в Париж

---

\* На русский можно перевести, например, как Лесовский, Излесов, Лесоватый и т. д.— *Прим. перев.*

на поиски славы. Мы же оставляли свою славу в Плесси-ле-Водрёе и были уверены, что всегда там ее найдем. Нет, в Париже мы искали не славы, уже завоеванной и ждавшей нас дома, мы ездили туда ради танцовщиц и чтобы купить себе обувь. В общем, ради пустяков: походить по магазинам и удовлетворить кое-какие мелкие потребности. Мы пользовались этими наездами, чтобы показать себя на ипподроме Лоншан, на светской охоте, у вечной герцогини д'Юзес, на чаепитиях у тетушки Валентины, на благотворительных распродажах у церкви Сакре-Кёр. Быть может, эти несколько страниц хоть немного помогут читателю уловить кое-какие изменения, случившиеся в промежутке между средневековьем, в котором мы жили, и современностью, приход которой мы упорно отказывались признавать. Вот что, во всяком случае, действительно и явно изменилось, так это столь мелкая и вместе с тем важная деталь, как организация времен года. Оказались перевернутыми отношения с солнцем, с теплом и холодом, с природой и ее фазами. Осень и зиму мы проводили в Плесси-ле-Водрёе, поскольку это был сезон охоты. А приезжали в Париж как раз перед началом жары в конце весны или в начале лета, потому что это было время бегов и тех самых раутов, которые так любил наш жилец с бульвара Осман.

Мы никогда не совершали далеких путешествий. В Париж ездили в экипаже, а позже — поездом. Вот и все. Деду моему и в голову бы не пришло отправиться куда-нибудь в Сирию, в Индию или в Мексику. В такого рода перемещениях нам виделось излишнее беспокойство с налетом вульгарности. После окончания Крестовых походов и корсарских эпопей мы редко удалялись от Плесси-ле-Водрёя. Чтобы оказаться на Лазурном Берегу, надо было иметь боль-

ные легкие и, разумеется, ехать туда непременно зимой, когда вы имели шанс у мыса Мартен повстречать императрицу Евгению или императрицу Елизавету, а в Ницце — королеву Викторию или императрицу России, прикрытую во время купания от любопытных взоров ширмой из шестидесяти казаков. Показать в Каннах или в Ницце между маем и октябрём значило снискать себе позор, пережить который было бы просто невозможно. Поездка в Северную Африку ассоциировалась в нашем сознании лишь с тремя побудительными причинами: с убийством или квалифицированной кражей, с бегством от нашествия оккупантов, как это было в случае с эльзасцами, а также с гомосексуализмом. Исключение составляла только поездка в Италию и Грецию. В качестве простительных примеров служили поездки Шарля Бросса, Шатобриана и Эдмона Абу. Те, кто не боялся, что их станут обзывать художниками, имели право сесть в Марселе на пароход или пересечь Альпы, чтобы затем прикоснуться к древним камням Рима и Греции.

Зато другие часто приезжали к нам. У нас были комнаты, предназначенные для друзей. В голубой спальне останавливался архиепископ, были еще розовая спальня, желтая спальня, где ночевал Генрих IV, — ибо не существует истинного замка, где бы не ночевал Генрих IV, — спальня с гвоздиками, спальня Маркизы — потому что в ней одну или две ночи провела маркиза де Помпадур, две спальни в башне и безымянная спальня. Подводки воды не было ни в одной из них, и поэтому не приходилось удивляться, что их избегали привидения. Когда я приезжал на рождественские каникулы к деду, то я нередко видел, как он, чтобы совершить утреннее омовение, разбивает лед в большом кувшине. И все



же друзья приезжали. У нас ощущалось присутствие чего-то фольклорного. И люди приезжали, нередко приезжали издалека, чтобы ощутить крепкий пикантный привкус давно исчезнувшего прошлого. Первую ванную комнату в замке оборудовали в 1936 году при правительстве Леона Блюма. Должен же социальный прогресс приносить хоть какую-то пользу, говорил дедушка. Он обладал чувством своевременности действий, умением точно выбрать момент и чутьем на удачные встречи. 6 февраля 1934 года в парке был устроен тир для стрельбы по летающим тарелкам. А сразу после того, как Ставиский пустил себе пулю в лоб, механики и кухарки, получавшие до этого произвольное жалованье, получили наконец возможность предъявлять какие-то счета. Это было поразительным нововведением. Ироническая дань уважения гнилым нравам этого времени. Все были удивлены, а может, даже и слегка шокированы.

Друзья и родственники из австрийской и польской ветвей приезжали не на день и не на уик-энд. Они поселялись недель на восемь. Надо сказать, что приезжали они издалека и что путешествия их были продолжительными. Поляков однажды утренним поездом приехало целых двадцать два человека, причем с таким количеством чемоданов, что начальнику станции в Русете пришлось нанять катафалк и пару дровосеков, чтобы доставить их до замка. А один русский кузен вообще не уехал. Он до сих пор живет в Плесси-ле-Водрёе, где из-за потрясений нашего века ему пришлось заняться делом, о котором он и не помышлял во времена, когда участвовал в пиршествах в Царском Селе и в Зимнем дворце: в течение двадцати лет он проработал начальником пожарной команды.

Если бы мне нужно было в двух словах охарактеризовать наш образ жизни, я бы сказал с удовольствием, что он был основательным и легким. Основательным — поскольку он покоился на фундаменте, который никогда не колебался в прошлом и в котором не было причин сомневаться в будущем. Между окружающим миром и нами, между нашими убеждениями и нами, между нами и нами же нельзя было бы просунуть даже тончайший листок папиросной бумаги, вроде той, что использовалась моим дедом для скручивания сигарет. Мы были словно приклеены друг к другу. Нам были неведомы какие бы то ни было сомнения, колебания в мыслях, угрызения совести. Нам довелось испытать много несчастий. И начались они очень рано. Несчастьем была Реформация. Несчастьем была революция. Несчастьем было поражение графа Шамбора. Несчастьем было признание невиновным Дрейфуса. Неким небольшим несчастьем было введение Эженом Кайо налога на доходы. Большим несчастьем было осуждение папой римским деятельности «Аксьон франсэз». Но все эти испытания не ослабляли веру во многовековые ценности и честь фамилии. Один из моих кузенов — слава Богу, достаточно отдаленный — решил развестись, а один наш дядя женился на еврейке. Это тоже были несчастья. Жизни без несчастий не бывает. Как не бывает жизни и без несчастных случаев. По мере того как текли годы, мы все меньше и меньше верили, что все в конце концов образуется. А ведь долго сохраняли эту веру. Из надежных источников мы знали, что события, когда они наносили нам ущерб, были несправедливыми и что мы всегда были правы. Бог и король были на нашей стороне. Эта великая коалиция была гарантией нашего прошло-

го. Будущее, возможно, слегка ускользало от их влияния. Ну и ладно! Мы же жили в прошлом.

Однако имелись кое-какие эпизоды в нашей истории, в отношении которых мы не были уверены, следует ли их считать удачами или несчастьями. Самым ярким примером таковых был Наполеон Бонапарт. Корсиканец, ставший императором, не получил у нас единодушной оценки. Одни ненавидели его за то, что он не повелел вернуть в страну короля и к тому же казнил очаровательного герцога Энгиенского, приходившегося нам немного родственником. Другие же одобряли его за то, что он разогнал болтунов. Они предпочитали военного, который расстреливает, адвокатам, которые гильотинируют. Другой пример двойственной оценки — женитьба дядюшки, о котором я только что упомянул, на тете Саре. Тетя Сара была еврейкой. И это оказалось для нас очень тяжелым испытанием, с трудом поддающимся объяснению ударом Провидения, своего рода наказанием Господним. Мои дедушка и бабушка на свадьбу не поехали. На свадьбе не было вообще никого. Был только архиепископ Парижский, который их венчал, и четыреста пятьдесят гостей в замке Багатель после мессы. Но тетя Сара оказалась в жизни не только красавицей, хорошо вписавшейся в семейный круг, но еще и очень набожной, добропорядочной и благонамеренной женщиной. Она была близко знакома с несметным количеством германских курфюрстов и эрцгерцогов, а также с архиепископом Парижа. К тому же она была очень богата. Вот и поди разберись, как надо относиться к очень богатой еврейке, большей монархистке, чем сам король, и, естественно, принявшей католическую веру и носящей нашу фамилию!

Я бы очень не хотел, чтобы подумали, будто я насмехаюсь над нашей семьей. Быть может, нынче, когда многое изменилось, мне позволят здесь с некоторой торжественностью заявить, что нет ничего более благородного, более чистого и достойного любви, чем эта порода людей, в среде которых я появился на свет. Были у нее и недостатки. А у кого их нет? Так ли уж, например, был хорош господин Даладьё? Были у нее и свои комичные стороны. Ничего не скажу о господине Блюме: он был принц, как и мы. Но ведь порой республиканцы выглядели смешно. Иногда она была жестокой. А разве у революции руки не были в крови? У нас за спиной возвышалась такая стена из воспоминаний, традиций и предрассудков, что нам приходилось держаться прямо. И мы держались очень прямо. Мы крепко стояли на ногах. И умели умирать. Люди нас любили.

Люди любили нас. Кто-то может сказать, что они не понимали, что религия заморочила им головы, что они не вполне понимали, кто они такие. Но я здесь не для того, чтобы дискутировать. Я здесь для того, чтобы рассказывать. И я говорю: люди нас любили. Не знаю, любили ли они семейства Конде, Ришельё, Ларошфуко, Талейранов-Перигоров. Я говорю лишь, что вот нас, нас они любили. И доказали это в годы Соппротивления и после Освобождения. За нами была вся страна. Половина была за деда, оказавшегося на стороне маршала Петэна. А другая половина — за моего кузена Клода, командовавшего отрядом партизан.

Люди любили нас по очень простой причине. Потому что мы любили их. Да, мы их любили. И прошу вас не смеяться, потому что я говорю сущую правду. Мы не были социалистами, не были демократами. Мы терпеть не могли социализм и

демократию. Однако мы были христианами. Прежде всего — католиками, ну и вообще христианами. Мы любили своего ближнего. Понятие «ближний» тогда еще не очень далеко простиралось за пределы замка и наших земель. Нам были безразличны судьбы маленьких алжирцев и детей в Конго, нас не трогали наводнения Желтой реки и нищета в Перу. Но мы любили наших простых людей в Плессиле-Водрёе и в Руаси, в Вильнёве и в Сен-Полене.

Впрочем, может быть, здесь я не совсем справедлив. Моя прабабушка велела нам, детям, откладывать фольгу от шоколадных плиток, чтобы посылать ее детям в Китай, и я отлично помню, как она все время говорила о своей любви к берберам и кабилам. Не знаю уж, почему она так любила именно берберов и кабиллов. Некоторые могут даже сказать, что это была своеобразная форма расизма. Должен признаться, что она предпочитала берберов и кабиллов, и особенно их детей, взрослым арабам. Много позже, во время конфликта между султаном Марокко и пашой Марракеша, я невольно подумал, что прабабушка моя наверняка была бы на стороне Глауи, поскольку он не был арабом. Она питала к хозяевам Атласских гор, равно как и к китайским мандаринам, некую избирательную любовь, которую марксисты нынче довольно прямолинейно объясняют классовым сродством. А что тут такого! Теперь всем известно: никто полностью не свободен. Над нами тоже довлела история и, наверное, больше, чем над кем-либо еще. Но при этом мы старались, как могли, любить наших братьев во Христе.

А случившееся в 1902 году извержение вулкана Пеле на острове Мартиника? Это было страшное бедствие, о котором в нашей семье говорили с дрожью в голосе еще много лет спустя. Помню, как мы

разглядывали в журнале «Иллюстрасьон» картинки этого бедствия. Нет, нельзя сказать, чтобы мы были так уже черствы и бесчувственны. Просто мы были меньше информированы о дальних странах, чем нынешние обожатели маленького экрана. И к тому же мы не любили проливать слезы, ничего при этом не предпринимая. Раньше мы совершенно не так, как сейчас, все воспринимали. Бабушка моя редко беспокоилась по поводу того, что происходило в Африке, в Азии или в Южной Америке, но если уж начинала говорить о тамошних бедах, то тут же смотрела, не может ли она что-нибудь сделать, чтобы облегчить участь несчастных. Были у нас повара, которые любили, чтобы их называли шефами, и которые носили большие белые колпаки, обильно сдобренные крахмалом. Были у нас метрдотели и выездные лакеи, домашние учителя и садовники, механики и повара, лесники и псары. Но никогда, никогда никто из наших людей — ибо так мы их называли и так же они называли сами себя, — никто из наших людей не уходил в мир иной без того, чтобы бабушка, или мама, или кто-нибудь еще из моих родных не стоял у деревянной кровати под самшитовым крестом с распятием, чтобы держать руку умирающего при последнем издыхании. Наши люди принадлежали нам. Но и мы принадлежали им. В ту пору на работу не брали первых встречных, которых можно было бы сменить, как меняют рубашку, или автомобиль, или, скажем, молочницу. Человек, поступавший к нам на работу, не нуждался в социальном обеспечении, которое тогда и не существовало, в пенсии, которая тогда тоже не существовала, в диспансерах, которых тоже не было. Всякий, поступавший к нам на службу, знал, что он больше никогда не окажется безработным, не окажется без средств к существованию,

что в случае болезни его будут лечить, что его будут защищать от превратностей судьбы и опасностей и что если он умрет, то его дети не будут брошены на произвол судьбы. Да и как могло быть иначе? Ведь с того дня, как он или она поступали на службу, чтобы согреть грелкой постель или подмести аллеи, они становились членами нашей семьи.

Мы были далеки от того бездушного, ледяного протокола, какой соблюдался в австрийских или английских домах, где иерархия мест на кухне и в людской точно воспроизводила порядок старшинства в столовой и где, как я слышал, слуг приезжавших гостей звали по фамилии хозяев или хозяек. Мы же были — дедушка и сторожа его охотничьих угодий, бабушка и ее горничные, дядюшки и их псаря, — все мы были большой, крепкой семьей, все члены которой поддерживали друг друга. Эта семья включала также и жителей всех окрестных деревень. Мелкая торговка из Вильнёва, дровосеки из Русеты, лесники, кровельщики, дорожные рабочие на наших дорогах — все принадлежали той же системе, что и наш померанский кузен, генерал уланов, или старый помощник папского трона, наш двоюродный дед из Романьи или Лукании. Мы никого не презирали. Причем вовсе не оттого, что были такими уж совершенными. А оттого, что вместе с остальными людьми составляли очень старое строение, все части которого были связаны между собой цементом незапамятных времен, строение, где только Бог и король, когда, увы, он был еще легитимен, отличались от прочих существ.

Мы жили в некоей системе. Она принималась без рассуждений, была немного загадочной, почти таинственной, совершенно непонятной для современных умов. Это была система чести. Она была та-

кой же непреклонной, как марксизм или философия Гегеля. Но об этом никто никогда не говорил. Объяснять ее считалось неприличным. Мы находились слишком близко от земли, от лошадей, от наших старых деревьев, чтобы любить идеи. Но вся наша тихая жизнь была освящена верой, о которой мы никогда не говорили. Вера в непрерывную преемственность, в постоянство вещей и людей, в великий промысел Божий, одним из совершеннейших воплощений которого была, несомненно, наша фамилия. Мы только-только начинали понимать, не без некоторого удивления, что этот великий промысел божий всегда подвергался большому сомнению. Поражения, бедствия, измены не представляли для нас большой опасности. Мы не боялись бедствий: мы прошли через великое их множество. Измен мы тоже не боялись: приходилось переживать и их, причем с высоко поднятой головой. Такого рода неприятности были не очень существенны. Нет, установленный Богом порядок подтачивали, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, крошечные термиты, зловредные насекомые, отвратительные грызуны: идеи. Цезарь в Галлии, варвары в Риме, турки в Константинополе, французы в Москве и русские в Париже, чума, голод, наводнения причинили не так уж много зла, гораздо меньше зла, чем Лютер, Галилей, Дарвин, Карл Маркс, доктор Фрейд и Альберт Эйнштейн. Трое из этих шестерых были иудеями, двое — протестантами, причем один из них оказался еще и атеистом, а другой — почти еретиком. К этому черному списку позже прибавился некий Пабло Пикассо, считавший себя коммунистом и разрушавший человеческое лицо. Мы ставили в вину евреям не столько их деньги, их пейсы, убийство Христа и их крючковатый нос —



кстати, на прекрасном лице тетушки Сары нельзя было обнаружить ни малейшего следа горбоносости, — сколько их привычку думать. Сами мы думали очень мало. Дедушка с удовольствием рассказывал, как брат его, сев однажды в экипаж парижского извозчика, увидел, что тот, наверное социалист, читал при слабом свете фонаря журнал «Мысль». «Мыслитель! — приказал он, — вези меня в ресторан “Максим”!» Голос, звучавший сквозь толщу земли, сквозь века, призывал нас не размышлять.

Нерушимое здоровье, позволившее нашему роду продлиться много столетий, проистекало из отсутствия идей. Величественное здание, увенчанное Богом и императором, королем и папой, кардиналами и маршалами Франции, герцогами, пэрами и нами, получило смертельный удар от Галилея и Дарвина. Первый помешал Солнцу вращаться вокруг Земли, а второй провозгласил обезьяну нашим предком. Ну разумно ли полагать, что вышедшая замуж за одного из испанских Бурбонов тетушка Мелани, чья ставшая притчей во языцех лучезарная красота поразила насмерть одного за другим двух ее кузенов, произошла от мартышки или орангутанга? Право, у японцев было больше мудрости и понятия о приличиях, когда они объявили, что их императоры являются потомками Солнца и Луны. Нам хватало спокойной внутренней силы, чтобы не слишком верить рассказам ученых. Ведь они очень часто были республиканцами. В глубине души мы всегда были согласны со святой инквизицией. Солнце испокон веков вставало и садилось, дабы не меркла слава нашего семейства. И негоже было нам ни с того ни с сего, по воле какого-то итальянца не шибко знатного рода начать вдруг самим крутиться вокруг светила. А случай с Дарвиным выгля-

дел и того проще: это был просто негодяй. Хладнокровно и трезво рассуждая, мы спрашивали себя, во имя чьих зловещих интересов — как-то наверняка связанных с евреями или какими-нибудь масонами — ему захотелось нас унижить?

Мы не желали видеть и не видели трещины на фасаде здания, не видели выцветших тканей и заплатаанных штанов в кортеже славы, не видели хромающих стариков, взбунтовавшихся рабов и колченогих лошадей. Вы мне верите, не так ли? Мы сражались не ради денег. Мы сражались за тот образ мира, о котором не имело смысла спорить. Возможно, товарищ Карл Маркс был прав, когда говорил, что мой дед и все, кто шел за ним, защищали исключительно свое экономическое положение. Однако к тому, что он говорил, следовало бы добавить то, что говорил доктор Зигмунд Фрейд, о чем мы, естественно, не подозревали. Дело в том, что между нами и деньгами находился непроницаемый экран, созданный Богом, королем, историей, честью семьи.

Этот мир, еще такой прочный, стал очень легким из-за того, что над ним потрудились челюсти термитов. В нем появилось много дыр. Мы жили уже не в прежнем пьянящем мире реальности — ветви на дереве засыхали и отмирали. Мы не работали. Жизнь продолжалась без нас. У нас не было с ней сцепления. Мы ушли со службы, чтобы предаваться грустным воспоминаниям. Все способствовало этому уходу в отставку. Глава семьи, мой дед, не смог даже проявить себя в единственном своем имеющем восьмивековую традицию ремесле, в военном деле. Он был моложе бабушки на два или на три года, поскольку родился в 1856 году. И в 1870 году ему было всего четырнадцать лет, то есть он был слишком мал, чтобы участвовать в войне. А в 1914 году,

в пятьдесят восемь лет,— слишком стар. Ну а в 1945 году ему было восемьдесят девять лет, и он оказался еще достаточно живым, чтобы в радостные дни победы стать свидетелем конца того мира, по которому он прогулялся походкой дилетанта. Вот про этот-то конец мира я и рассказываю. Печальнее поведи не придумаешь.

Мы были легкомысленны. Ах, какими мы были легкомысленными! Очаровательными, нередко красивыми, всегда безусловно воспитанными, великими, очень сильными и очень слабыми, были великолепными охотниками, иногда бледными и утомленными, всегда неутомимыми и ненасытными, жертвами апоплексических ударов, безгранично храбрыми и жадными до развлечений. Мы были инками и ацтеками, русскими кулаками, катарами, богомилами, грузинскими князьями, купцами из Балха или из Мерва в эпоху Чингисхана, героями Атлантиды — всеми теми, кто, сами того не зная, были обречены на исчезновение. Какая ирония судьбы. Мы думали, что мы князья, что мы господа, это мы являемся правой рукой Отца Всевышнего, а оказались в положении тех, кого мы больше всего презирали, в положении польских евреев 1939 года. Мы — со всеми нашими старинными замками и прекрасными манерами, с нашим дружеским расположением к ремесленникам, к плетельщицам соломенных стульев и гончарам, с нашими безумными идеями о чести, с нашим пренебрежением к деньгам и к труду, с нашим справочником древних родов под мышкой и Богом в виде идола, нашей любовью к земле и к прошлому — заранее были обречены на смерть в мире, летящем в будущее, откуда заведомо исключались деревья, лошади, терпение, вечность, уважение.

Обречены наравне с евреями и коммунистами, наравне с цыганами и масонами стать добычей палачей, пасть от удара топора, от пули в затылок, умереть в концентрационных лагерях. Однако они еще могли взять реванш, у них еще была надежда на будущее. А у нас никакой надежды уже не было. Знали ли мы об этом? Думаю, что это было нечто подобное мысли о смерти у всякого простого смертного: мы знали, что умрем, смутно догадывались, что мы уже умерли, но не хотели в это верить и не могли верить. И мы скрывали от самих себя мысль о своей ужасной судьбе. Скрывали, наряжаясь в роскошные одеяния, скрывали за угаром псовых охот, за предрассудками культа традиций, за особой формой комичного и абсурдного, которой тень смерти придавала своего рода величие.

Воплощением этого комичного величия мне представляются мои двоюродные деды Жозеф и Луи, да еще мой двоюродный прадед Анатолий с их высокими накрахмаленными старомодными воротничками, с их бакенбардами, с их сюртуками и рединготами, с их неподражаемым акцентом, с их верностью легитимной монархии, со строгостью их суждений и убеждений, с их безупречной честностью и безнадежной неспособностью видеть. Они не были невеждами. Они говорили на древнегреческом и на латыни гораздо лучше меня, хотя я добрых лет десять зубрил их без особого успеха в школах Республики, и они прочитали все, что было написано до XVIII века и даже в начале его. Позже отбор читаемого стал у них строже. Некоторых вообще не читали, например Жана Жака Руссо и Дидро — за их дерзость и дурные мысли, а после 1789 года читали лишь двоих-троих: Жозефа де Местра, Виньи, Барбе д'Оревильи, ну, может, еще Бональда, Октава Фёйе,

Виктора Шербюлье, Мориса Барреса или Леона Доде, и уж, конечно, крупнейшего из всех, виконта де Шатобриана, чьи произведения все мои близкие знали от начала и до конца чуть ли не наизусть, совсем как произведения герцога Сен-Симона, являвшегося родственником нашей семьи. Так как он женился на Марии-Габриэль де Дюрфор, дочери маршала де Лоржа и сестре герцогини де Лозен. В Шатобриане им нравилось все: его происхождение, его идеи, его надежность, его стиль. Это был их человек — со всеми его безумствами и моральной строгостью, с его бесчисленными любовницами, с его тягой к самоубийству и любовью к руинам, с его приправленной юмором неизлечимой меланхолией, с его страстью защищать заведомо проигранные дела. Эта их привязанность к нему сохранилась и у меня. Нет, мы отнюдь не были невеждами. Но мы были покойниками. Время нас пережило.

Вот примерно таким, по-моему, был тот мир, в котором мы жили. За без малого тысячу лет он мало изменился. Да ведь мы и не хотели, чтобы он менялся. Однако, хотя мы и витали в облаках, закрывая глаза на то, что нам не нравилось, мы его уже не узнавали. Мы говорили о нем, как говорят об одряхлевшем дядюшке, которого извела неизлечимая болезнь. Переглядываясь между собой, мы покачивали головой и шептали: «Как он изменился!» Мы не исповедовали никакой особой философии, но в глубине души ощущали себя адептами молчания и неподвижности. Про идеи хорошо сказано, что они прокладывают себе путь между людьми. В том подозрительном движении, в котором философы — естественно, социалисты — с удовлетворением видели прогресс сознания, мы, напротив, усматривали какие-то козни, догадывались,

что это ведется неторопливый подкоп под фундамент наших храмов. И в ожидании грядущих катастроф продолжали жить своей пустой жизнью. Мы уже ничего больше не ждали. А только пытались, по-прежнему безуспешно, замедлить движение Солнца и времени над нашими головами. Господь, наш Господь отказывал в такого рода чуде новоявленным Иисусам Навинам. Страх мы не испытывали, поскольку после веков мужественной борьбы на полях сражений страх нам был непозволителен. Но между окружающим нас миром и нами образовался разрыв. Дело в том, что весь мир безудержно, смачно и демонстративно предавался непрости-тельному греху: мы остановились, а он продолжал двигаться.

## II

### БРЕШЬ

Однако в самом конце девятнадцатого века, в один прекрасный весенний день современный мир в конце концов все-таки обрушился на наше семейство. Дабы лучше нас соблазнить, современный мир принял облик молоденькой блондиночки, которую заметили герцог Вестминстерский и племянник Василия Захарова не то на балу при английском дворе, не то на благотворительных распродажах, организуемых обычно одними и теми же дамами из высшего общества. Женщины у нас, как импортные, так и идущие на экспорт, красивыми бывают часто. Мой дядюшка Поль — который, если не считать посещений мессы в часовне при замке и верховой охоты на оленя, палец о палец в жизни не ударил — встретил Габриэль совсем как герой романа Октава Фёйе: после четырехчасовой скачки по болотам и зарослям в одном из лесов Солони он остановил на скаку понесшую лошадь, а на ней оказалась в полуобморочном состоянии дочь торговца пушками и апельсинами. Он на ней женился. Она обладала умственными способностями выше среднего, была очаровательна, талантлива и невообразимо богата. Но все это, как оказалось, не имело значения. Наше семейство тут же выразило свое недовольство. Торговец пушками — тоже.

Брак был одним из ключей нашего старого мира. На протяжении многих веков мы женились только на равных себе. Однако со временем становилось все труднее и труднее находить столь же старинные семейства, как наше. Почти все они угасли. Революция славно закусила несколькими выжившими их представителями, которые еще могли бы надеяться на породнение с нами. Нам пришлось соглашаться на браки внутри клана. Ведь теперь только мы жили так, как мы. И отныне нам нравились только мы. Из-за этого менее чем за два поколения генеалогическое древо семейства стало невероятно запутанным: почти все супруги оказались друг другу кузенами, нередко муж приходился жене дядей или же, наоборот, племянником, часто возникало двойное, тройное, четверное родство, к великой радости выпускников Национальной школы хартий и провинциальных кузенов. Неписанные законы о браке сузили планету и ее обитателей до размеров клана.

Деньги в этих браках не играли большой роли. Главным было происхождение. В наших жилах текла древность. Старинные грамоты семьи ставились выше банковских счетов. Слушая разговоры об акциях и облигациях, мы думали о крестовых походах и феодальном праве. Мы сохраняли старинные традиции, и когда какая-нибудь ветвь племени беднела чересчур, на помощь приходили монастыри, и равновесие восстанавливалось. Церковь, наряду с войнами и микробами, в каком-то смысле тоже участвовала в регулировании деторождений и в уравниваемости семейного бюджета. Об этом финансовом равновесии вслух никто и никогда не говорил. Только революция нанесла ему удар, от которого нам уже не суждено было оправиться. Достаточно беглого взгляда, чтобы узреть одну из



тяжелейших катастроф нашей долгой истории. Таковой стала ликвидация права первородства.

Женщины, младшие сыновья, малые дети долгое время служили лишь тому, чтобы увеличивать народонаселение, а затем умирать. Они являлись как бы инструментами, орудиями, частями механизма, в крайнем случае — запасными частями. Смерть дочери или младшего сына никогда не была ужасной бедой. И роженица тоже всегда могла спокойно тут же отправляться в мир иной, если она рожала сына, благодаря которому сохранялось имя. Дочери не играли важной роли, поскольку теряли свою фамилию. И теряли они ее потому, что не играли важной роли. Змей, искусивший Еву, кусал собственный хвост. Женщины и младшие дети существовали лишь для того, чтобы добавлять славы семейству, главой которого являлся старший сын. Только он имел истинное значение, поскольку он продолжал род, который он же и воплощал. Все было организовано так, чтобы именно он владел всеми средствами, находящимися в распоряжении семьи. Когда братья и сестры вдруг перестали умирать или уходить в монастыри, перестали помалкивать и стали требовать свою долю родительского наследства, семья хирела, умирала, во всяком случае, гибло бывшее представление о семье. В этом случае нам оставалось только заниматься самодеятельностью, чтобы как-то выкрутиться.

Для многих лучшим выходом из положения был выгодный брак. У нас ситуация была немного получше. Продолжая витать в облаках, мы с презрением наблюдали, как американки, мещанки и еврейки, с их банками, портными и обувщиками, спасали севших на мель потомков коннетаблей и принцев крови. Доходный дом на бульваре Осман и

фермы в Верхней Сарте помогли нам как-то держаться на плаву. Появление тети Сары и ее денег внесло некоторое смятение в этот казавшийся ранее незыблемым порядок. Но дядя Жозеф, ее муж и брат моего деда, не был старшим. Все, что он делал, в том числе и его глупости, было отмечено печатью несерьезности. И потом, в этой семье, жившей воспоминаниями, забвение также играло свою роль. Очень старые семьи подобны очень старым людям: они тоже впадают в детство, им тоже угрожает малярия. Впрочем, может быть, он их охраняет. В конце концов мы забыли о происхождении тети Сары. Ее брат женился на девушке из семейства Шатийон-Сен-Поль, а ее сестра вышла замуж за Бурбона-Вандома. В головах у нас смешивались разные поколения, и мы уже более или менее искренне стали считать, что ее отцом был Шатийон-Сен-Поль, а мать — женщина из рода Бурбонов-Вандомов. В тот момент, когда дядюшка Поль, старший сын моего деда и будущий глава семейства, влюбился в Солони, в очаровательную дочь пушечного короля, наше семейство, изящно смешивавшее постоянство с непостоянством, являло собой, несмотря на потрясения современного мира, небывало единый фронт.

В течение ста предшествующих лет семья Реми-Мишо сделала головокружительную карьеру. К сожалению, только ста лет. И, к сожалению, карьеру. В нашем роду карьеру не делали. Нам все было даровано, причем даровано давно. Еще в колыбели мы получали все, что нужно было для нашей славы. И мы никогда ничего к дарованному не добавляли. Карьера, проделанная на протяжении века или чуть более того, в наших глазах ничего собой не представляла, и само начало ее, кроме подозрений, ничего у нас не вызывало. Она начиналась при им-

ператоре, а то и — что еще хуже — во время революции. Альбер Реми-Мишо был равным среди таких, как Шнейдеры, Вандели или Сомье. В свое время он был одним из самых элегантных мужчин. Вместе с Шарлем Хаасом он способствовал появлению у Пруста персонажа по имени Сван. Он возглавлял могучую индустриальную группу, где работали двадцать тысяч человек, и распорядился нешуточным состоянием. Был он командором ордена Почетного легиона и входил в самые закрытые круги Парижа. Но мой дед запомнил лишь одно: это был республиканец. Более восьми веков наше семейство обходилось без республиканцев и не жалело об этом. А раз обходилось в прошлом, то должно было обойтись и в будущем. Столь долгую и достойную привычку дедушка не собирался бросать из-за случайной встречи с какой-то там посредственной наездницей.

Но было нечто более серьезное. Все знали, что первый из Реми-Мишо, чья фамилия писалась еще без черточки, прежде чем стать министром торговли и общественных работ при Луи Филиппе, ходил в префектах империи. Однако многие забыли, что в возрасте двадцати пяти лет ему довелось оказаться членом национального Конвента. Многие, но не мой дед, отличавшийся превосходной памятью, как на добрые, так и на злые деяния. Где-то между табличками герцогов, пэров и маршалов Франции он хранил черный список цареубийц. Ему не составило труда установить, что 20 января 1793 года Мишо де ла Сомм (Реми) проголосовал за казнь короля. Это стало подобно удару грома в небе Плесси-ле-Водрёя. Маршальские жезлы, парики, качели с дамами и те закачались на старинных портретах и картинах. Даже сорок лет спустя мать все еще рассказывала мне об этом. При мысли, что его внук

может оказаться потомком цареубийцы, кровь вскипела в жилах деда. Одно из старейших семейств Франции, состоящее из самых верных приверженцев короля, не заслуживало такого позора.

Впрочем, семейство Мишо, чья фамилия стала писаться Мишо де ла Сомм, потом — опять Мишо, потом уже — Реми-Мишо («Они даже не знают, какая у них фамилия», — говорил мой дед), оставило свой след в истории Франции. Правда, это была уже новая, почти даже современная история. И след этот был липким от крови и денег. Сын трактирщика и фермерской служанки, Мишо де ла Сомм не ограничился тем, что проголосовал за казнь короля. Вскоре он отправил на гильотину еще и своих коллег. Какое-то время он пребывал в тени деятелей вроде Сиейеса, Барраса, Тальена. Первый консул приметил Мишо в интендантской службе, где тот был заместителем Дарю, и он стал префектом сначала Марны, потом Соммы, родного своего департамента, где он добился руки дочери прежнего властителя тех мест. Тогда барон Мишо достиг первой вершины в своей карьере. Находясь в тени Фуше и Талейрана, он тайно готовил вместе с царем Александром и Меттернихом падение Наполеона, которому был обязан буквально всем, и тем самым — возвращение Бурбонов, которых когда-то хотел уничтожить.

Второй апофеоз бывшего цареубийцы случился при Луи Филиппе, сыне его старого сообщника, герцога Орлеанского, члена Конвента и цареубийцы, известного под именем Филипп Эгалите. Король французов учуял хорошего слугу в этом республиканце-монархисте, долго служившем империи. И назначил его министром. В теплое местечко. Министр торговли, потом — общественных работ, барон Мишо разбогател, спекулируя на железных

дорогах. Он не решился вернуть себе фамилию Мишо де ла Сомм, хотя частица «де» ему льстила и могла бы даже ему пригодиться. Но эта фамилия еще вызывала немало воспоминаний. Он выбрал Реми-Мишо. Ведь черточка почти равняется частице «де». Барон Реми-Мишо своими расчетливо продуманными празднествами украсил лучшие дни орлеанизма. Его сын, Лазарь Реми-Мишо, обосновался в Северной Африке. Так к доходам от промышленности добавились еще и богатства от колоний. Потом еще несколько пируэтов, несколько смут, несколько кровавых дел, и вот уже семья Реми-Мишо оказалась в числе победителей на пиршестве Третьей республики. Они устроились в ней так же уютно, как и при прежних формах правления. Для них были хороши все режимы за исключением тех, что падают. Любили они и революции, когда сами их совершали. Революционер, префект империи, доморощенный Талейран, министр при Луи Филиппе и биржевой спекулянт — в бароне Реми-Мишо нетрудно узнать одного из тех, с кого Клодель списал Туссена Тюрлюра, мрачноватого героя пьес «Заложник» и «Черствый хлеб». Нам же больше нравились персонажи вроде Синь де Куфонтен из тех же пьес. Мы долго были на стороне сильных. Теперь, когда мы сами стали побежденными, наши симпатии переключились на жертв.

Клодель точно заметил: людей типа Реми-Мишо отличают ловкость, нюх на ситуацию, умение поймать ветер истории. Были у Реми-Мишо и семейные традиции, которые состояли как раз в том, чтобы не иметь таковых и благодаря этому не упустить ничего. Они использовали в своих интересах буквально все. Можно сказать, что им на пользу шел сам воздух современности. Они остановили ход революции, затем приручили робкую монар-

хию, оседлали восстановленную было империю, овладели неокрепшей еще республикой. Мы уже давно умерли. А они, ах какими живыми они оказались! Подвижные, активные, сильные, смелые и даже мужественные в своем слабоволии, удивительно умные, непостоянные и изменчивые, они были и послами, и государственными советниками, после того как побывали префектами и министрами. В каком-то смысле Реми-Мишо стали образом Франции. Иным образом. Не нашим. Но все же образом. Причем даже блистательным. Мы же скорее согласились бы погибнуть, чем признать себя в этом образе.

Дедушка называл всех Мишо одним словом: канальи. Они предали короля. Предали Церковь. А потом — предали и врагов короля и врагов Церкви. Но при этом незначительное преступление, каковым явилась измена по отношению к врагам короля, не искупало чудовищное преступление, каковым явилась измена королю. Один друг Реми-Мишо как-то пришел к нам и стал его защищать. Он сказал, что первый Мишо был одним из двух-трех людей, свергнувших Робеспьера. И услышал такой ответ: «Я расскажу вам в двух словах историю Термидорианского переворота: убийство нескольких сволочей другими сволочами. Вот и всё». Всё то, что создало богатство Мишо: гибкость, приспособленчество, понимание того, что происходит, способность быстро меняться, талант и, возможно, ум, — было нам совершенно несвойственно. Мы не отличались большим умом. И не обладали никакими талантами. Мишо, несмотря на их низость, а может, благодаря ей, были обречены на успех. После стольких веков славы мы стали ценить только поражение. И мы назвали его верностью.

Успех превратился для Реми-Мишо в манию. Они постоянно добивались каких-то выгодных назначений, богатства и блестящего существования. Послу Франции в Баварии, внуку члена Конвента, сыну Лазаря, деду Альбера Реми-Мешо в 1870 году, было поручено принимать Бисмарка в замке Ферьер. Его исключительные способности привели как всегда в восторг всех собеседников, включая «железного канцлера», расхваливавшего его потом в письме Тьеру. Но больше всех дружил он в ту пору с Ротшильдами. Сразу по окончании войны он покинул государственную службу и стал работать в банке, двери которого ему открыли барон Альфонс и барон Гюстав. Через его руки прошли все крупнейшие сделки той эпохи: передача пруссаками пяти миллиардов в качестве военных репараций, финансирование строительства Суэцкого канала, подготовка к строительству Панамского канала. Между 1882 и 1886 годами он стал президентом акционерных обществ, владевших шахтами в Анзене и Мобёже, металлургическими заводами в Риквире и Лонгви. Он участвовал в создании международной компании спальных вагонов и крупных европейских экспрессов. Одним из первых он занялся индустрией туризма. Попутно он продолжал руководить заморскими предприятиями Лазаря Реми-Мишо. Ему же принадлежали простиравшиеся от Феса до Кайруана пальмовые и оливковые рощи, роскошные сады и плантации апельсинов, лимонов и мандаринов. Большая часть торговли африканскими цитрусовыми в метрополии осуществлялась компаниями под его контролем, прямым или косвенным. Как говорил с обычным для него юмором Форен, «пара миллионов фруктов ежедневно» позволяла Реми-Мишо не умереть с голоду. Он мог также добавить, что небольшая война то тут, то там тоже весьма шла ему на пользу.

Может, я по отношению к Реми-Мишо не слишком справедлив? Нет ничего более трудного, чем заставлять слова передавать события, идеи, страсти и чувства. Как ни выскажешься, все равно солжешь. Слишком часто нам рисовали Людовика Святого разбойником, Жанну д'Арк — истеричкой, а Сталина — отцом народов, слишком часто терпимость выдавалась за насилие, а насилие — за свободу. Это научило нас с опаской относиться к лукавой силе устной и письменной речи. Я вполне допускаю, что и сам тоже могу ошибиться и изобразить жертву преступником, а преступника — жертвой. Наш век не избавил нас от подобных надоевших людям в прошлом фокусов. Рисовать без искажений портреты людей, правильно описывать их поступки — искусство почти божественное. Во всяком случае, это значительно труднее, чем блеснуть в жанре сатиры или выступить в чью-то защиту. У семьи Реми-Мишо был лишь один бог: успех. Успех, и больше ничего. Но при этом им было ведомо всё, что приводит к успеху. Усилия, неумная трудоспособность, спортивный запал, умение держать удар. Правнуки революционера с равным удовольствием встречали все жизненные превратности — так их воспитали швейцарские няньки и непроницаемые иезуиты. Вынужденные демонстрировать таким образом поколение за поколением чудеса гибкости и ловкости, они в конце концов обрели чувство строгой дисциплины, самую что ни на есть буржуазную честность, непреклонность и даже нечто вроде чести. «Честь! — бушевал мой дед, — честь! Откуда она могла бы у них взяться? Уж не из могил ли в Венсене?»\* Однако по

---

\* По-видимому, намек на то, что в Венсенском лесу по приказу Наполеона был расстрелян герцог Энгиенский (1772—1804). — *Прим. перев.*



мере того, как шли годы (мы измеряли время веками, а Мишо — годами), воспоминания об их участии в казни короля и об их корыстолюбии постепенно стирались, а в глаза все больше бросались их трудолюбие, их привязанность к традиции. Теряя что-то в гениальности, они выигрывали нечто в основательности и убедительности. Слово представителя семейства Реми-Мишо стало цениться на вес золота. Дух предпринимательства уступал место моральным ценностям. Они стали, подобно нам, подчиняться смутно понимаемому закону сохранения вида и теперь старались как можно лучше обустроить территорию, захваченную поколениями победителей. Но мы уже находились в конце этой долгой эволюции. А они — в самом начале. Полагаю, что дед мой ставил в вину семейству Реми-Мишо два почти несовместимых друг с другом преступления: то, что они были выскочками, составившими себе состояние на смерти Людовика XVI, и то, что они перестали быть таковыми и сумели сделать так, что все, в том числе и они сами, забыли об их первородном грехе и незаметно слились по образу жизни, по интересам, по взглядам с общественным — впрочем, не только общественным, а этическим, метафизическим и даже мифическим, священным в наших глазах и, как нам казалось, и в их глазах тоже, — классом: нашим классом.

Согласно семейной легенде, примерно в одно и то же время были произнесены две речи в стиле традиционных палинодий, одну из которых держал мой дедушка перед дядюшкой Полем, а другую — Альбер Реми-Мишо перед своей дочерью Габриэль. «Сын мой, — говорил дедушка, любивший время от времени выражаться высокопарным стилем, — вы вынашиваете проект весьма выгодного союза. Но в истории нашей семьи деньги никогда не цени-

лись и никогда не играли никакой роли. Было хорошо, когда их было достаточно и мы могли достойно содержать наш дом. Но когда их не хватало, мы тоже не переживали. Сын Елеазара так и не смог собрать нужную сумму, чтобы выплатить басурманам выкуп за освобождение своего отца. Елеазар обошелся и без них. Он бежал. Пересек пустыни и моря и вернулся, чтобы сражаться под знаменами своего короля. Никогда не были мы так бедны, как в конце XIV века, когда слава наша сияла особенно ярко. С самого начала нашего рода мы раз и навсегда отреклись от денег — ибо они могут принадлежать всем — в пользу чести, которая принадлежит только нам. И честь эта называется верностью. Как только в еще недостроенном здании нашей истории появится хотя бы малейшая трещина, это будет означать, что близок день, когда оно полностью рухнет. Мы уже и так приняли в нашу семью еврейку — так неужели же вы хотите, чтобы мы сюда впустили еще и измену с цареубийством? Если мы отнесемся к смерти Господа и смерти короля как к незначительным грешкам, достойным забвения, то где найдет себе пристанище чистота крови и памяти и что тогда станет с этими ценностями, на которых мы покоимся? Нет ничего более хрупкого, чем честь. Малейший промах, и вот ее уже нет. Верить в равновесие между добром и злом — ужасная иллюзия. Добро разрушается злом, но зло не разрушается добром: оно остается навсегда во времени, подобно несмываемому пятну. Вот почему так важно оберегать честь от любых грозящих ей посягательств. И то, что нашу фамилию понесут через века потомки цареубийц, причиняет мне нестерпимую боль. Тысяча лет чести и верности превратится мгновенно в прах. Неужели вы не

понимаете (вы, наверное, уже заметили, что дедушка обращался к своим сыновьям на «вы»), что наше представление об истории и о мире теперь находится в ваших руках? Каждый из нас — лишь одно звено в длинной цепи. И горе тому, чья подмоченная репутация ослабит всю цепь! Каждый из нас — ничто. Ценность представляет только семейство в целом. Настанет день, когда мы передадим в целости тем, кто придет после нас, унаследованную нами честь, пронесенную через века незапятнанной нашими предшественниками. Не давайте ни страстям, ни корысти в один миг опорочить накопленную за столько веков порядочность».

В то же самое время Альбер Реми-Мишо с несколько пошловатой интонацией говорил своей дочери нечто в таком вот роде: «Ну не пойдешь же ты замуж, милая Габи, за этого парня? Понимаешь ли ты, что все они фанфароны и бездельники? У меня нет сына. И мне нужен такой зять, который мог бы достойно сменить меня. А твой недоросль Поль совершенно для этого не годится. Он может охотиться, это у него не отнимешь. Но вот работать, это увольте! Что вы! Мне не нужен специалист по генеалогии и псарь, который только и умеет, что трубить в охотничий рог. Мне нужен парень, умеющий командовать людьми и машинами. Наверное, они умели командовать людьми, когда-то в былые времена... Но всё с тех пор потеряли и позабыли, поскольку ничего не делали и только воображали себя превыше всех. А что касается машин... Если уж не инженера или финансового инспектора, то я предпочел бы скорее заполучить мастера или рабочего, человека растущего, а не спускающегося вниз. А они вот уже восемьсот лет только и делают, что движутся по нисходящей, строго сохраняя пре-

емственность, согласен, но все же по нисходящей... И еще при этом позволяют себе презирать нас! Ну, ну! Не плачь... Так уж тебе хотелось стать герцогиней? Конечно, с твоей внешностью ты была бы самой красивой среди этих старух, которые собираются в их салонах... Привнесла бы немножко свежей крови этим выродившимся маньякам... Ну, ну! Не плачь... И не думай о нем... Знаешь что? Давай-ка съездим вместе в Венецию, в Зальцбург, в Нью-Йорк?..»

Через полгода дядя Поль женился на тете Габриэль, только что вернувшейся из Нью-Йорка. Дело в том, что на этом этапе истории тех слоев общества, о которых я пытаюсь рассказать, появилась новая сила. Это была любовь. Любовь всегда играла определенную роль в истории человека. Обнаруживалась она и в христианских браках. Правда, скорее как следствие, а не как причина. Она не играла большой роли в формировании семей, режимов, того или иного общества. Она больше их разрушала. Луи Расин, расхваливая в «Воспоминаниях о жизни и творчестве Жана Расина» брак своего отца, замечательно написал: «Ни любовь, ни корысть не имели никакого отношения к его выбору». В наши же времена, вот уже полвека, тесно переплетаясь с замаскированной материальной заинтересованностью, любовь активно вторгается в экономические и общественные комбинации промышленной буржуазии. В мир машин и механизмов проникли грезы. Огромные равнины покрылись заводами и фабриками, леса оказались вырубленными, горы и моря — покоренными и засоренными, но любовь, впрыснутая в общество романтизмом начала девятнадцатого века, продолжала свое триумфальное шествие, играя роль противовеса миру техники.

Человека окружили всякого рода машины, автомобили, средства коммуникации, реклама, но он остался способным испытывать страсть. Какое облегчение! Любовь стала реваншем и оправданием природы в мире, понявшем это и устыдившемся при мысли о механическом своем будущем. Миф любви обогатил кино, песни и литературу, стал еще одним, настоящим, опиумом для народа, а затем в конце концов превратился в орудие религиозной и политической борьбы, которое принималось в расчет матерями семейств и промышленными магнатами. Кстати, чаще всего чувства обнаруживали здравый смысл и покладистость. Браки по расчету помогали создавать государства, раздвигать границы провинции, приобретать состояния. Одна из побед буржуазии заключалась в том, что она научилась регулировать, сдерживать и контролировать любовь. Как это ни странно, но у буржуазии в ее сказаниях и легендах даже Тристан и Изольда никогда полностью не теряли чувства меры и общественной среды. В романах особо подчеркивалось губительное влияние страстей, говорилось об их роковых последствиях — достаточно вспомнить судьбы Матильды де ла Моль или Анны Карениной. Однако я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из семьи Реми-Мишо влюбился в негра, в батрака, в профессионального безработного, в профессиональную проститутку или в уголовника. Можно было опуститься до сельского врача, до манекенщицы, до актрисы, до разведенных, но никак не ниже. Все пастушки, на которых женились принцы, становились своими в новой среде. У сердца были свои аргументы, и разум с ними соглашался. Он ограничивался тем, что соединял тех, кто подходил друг другу, и разрушал только самые уязвимые ба-

рьеры и предрассудки, которые и без того готовы были рассыпаться в прах и исчезнуть. Нотариус мог жениться на дочери помещика, сын профессора-радикала — на дочери полковника-католика, еврейка могла выйти за протестанта, дочь франкмасона — за племянника архиепископа, а моя семья — породниться с Реми-Мешо. И каждый раз можно было биться об заклад, что разум знал, что творил. И он действительно знал. Время великих потрясений еще не пришло. Я подозреваю, что мой дед и Альбер Реми-Мешо скоро и сами поняли, возможно, поняли с легким сожалением, но смирились, что, несмотря на свои противоположные взгляды на мир и на людей, они были просто обречены заключить союз. Они еще вели арьергардные бои, но в глубине подсознания у обоих уже созрел проект мирного договора, уже мысленно составлялся контракт к нему. Семья коннетаблей и маршалов Франции нуждалась в деньгах, а дети царубийцы — в славе, слегка покрытой пылью веков, вроде той, что лежит на старой и ненужной мебели где-нибудь на чердаках фамильных замков. На историческую сцену выходили новые классы. Пора было объединяться. Вхождение в мое семейство республиканской буржуазии возвещало начало новой, не любящей жеманства эпохи. Надо было создавать нечто вроде священного союза или национального фронта, во имя сохранения привилегий. Нашим вкладом были замок, старинное имя, пара-другая привидений, воспоминания о славных былых победах, поэтическое воображение да еще герб, который когда-то рисовали на карете. А Реми-Мишо вносили в общую копилку ум, труд, отличное положение, деньги. С одной стороны, престиж прошлого, с другой — многообещающее будущее.

Ограниченные люди скажут, что тут встретились всего лишь снобизм, с одной стороны, и материальная заинтересованность — с другой. Я, правда, надеюсь, что мне удалось показать, как эта семейная хроника развивалась все-таки более сложным путем. Хотя, глядя со стороны, можно, конечно, сказать, что в данном случае сочетались браком страсть и общественное положение. Моя бабушка, о которой говорили, что она когда-то вышла замуж не столько за дедушку, сколько за его убеждения, умерла от горя, не прожив после этой свадьбы и трех месяцев. Ее преждевременная смерть не удивила семью, ибо бабушка сама предсказала ее. Добрый доктор Соважен, семейный врач, увидев иссохшее, измученное лицо и заплаканные глаза бабушки, замкнувшейся в молчании, шепнул на ухо деду не то с вопросом, не то с упреком: «Если бы ей было двадцать лет, я подумал бы, что она умирает от любви». И он был недалек от истины. Дед и бабушка были тут ни в чем не повинны и сохранили свои патриархальные нравы во всей их чистоте, но при этом именно любовь, с нашей точки зрения недостойная, свела старушку в могилу. А полгода спустя в Плесси-ле-Водрёе, как и следовало ожидать, родился будущий глава семьи, потомок двух канонизированных святых и трех банкиров, потомок Елеазара и цареубийцы, потомок многочисленных герцогов и пэров по линии отца и многочисленных безвестных людей по линии матери. Назвали его Пьером. Так звали двух маршалов Франции при Карле IX и при Генрихе III. И одного капеллана при Людовике XVI.

### III

#### ОТ СЫНА ТАРАСА БУЛЬБЫ ДО ПЫШЕК НАСТОЯТЕЛЯ МУШУ

Опасности, угрожавшие нашим традициям и мифам, всему зданию, оказавшемуся более хрупким, чем мы полагали, исходили не только изнутри, связаны были не только с перипетиями личной жизни и увлечениями нашей молодежи. Само правительство — надо было слышать, как презрительно произносили мы это ненавистное слово из четырех слогов,— делало все, чтобы разрушить наш мир с помощью разных выборов, невысказанных декретов и всевозможных учреждений, по поводу которых члены нашей семьи высказывались, не жалея эпитетов. Презируя наши привилегии, Республика придумала несколько ужасных механизмов, дабы разрушать наши устои и унифицировать общество. Таковыми стали всеобщие выборы, обязательная воинская повинность, образование для всех. В этом, становящемся все более враждебным мире, где представление о нашем естественном превосходстве подвергалось интенсивной критике, спасение виделось нами только в самоизоляции. В конце концов мы оказались единственными, кто еще в нас верил. Поэтому мы жили в узком кругу, охотились только со своими, женились только между собой. Нас называли гордецами. А мы были просто застенчивыми. Мы боялись



других. Боялись будущего, ибо оно было противоположностью прошлого. Мы закрывали за собой все двери, ведущие во внешний мир, ставший слишком большим для нас и для наших чаяний, связанных с воспоминаниями. Школа и армия заставляли нас открывать эти двери.

Воинскую службу переносить было легче. Нам было проще общаться с офицерами, чем с преподавателями, с сержантами — чем с учителями, с солдатами — чем со студентами, с генералами — чем с профессорами, с учеными, с лауреатами Нобелевской премии по физике, по литературе, с теми, кто получил таковую, борясь за мир. Давняя привычка сблизжала нас с военными. Мы были и шуанами, и эмигрантами, и просто «бывшими». Но при этом всегда чувствовали себя ближе к противникам в военной форме, чем к сторонникам в гражданском. Боевое братство объединяло нас с республиканской армией, даже когда мы находились в противостоящем лагере. Нам были по душе ее порядок, ее иерархия, ее мощь и элегантность. Это были не наш порядок и не наша иерархия. Не наша мощь. И не наша элегантность, естественно, ни с чем не сравнимая. Мы не унывали в беде, и мой дед, случалось, приглашал в Плесси-ле-Водрёй отобедать или принять участие в охоте генералов, полковников, капитанов совершенно незнатных фамилий, но чьи взгляды, открыто высказываемые или тайные, были близки нашим.

Под высокими сводами салонов, в окружении портретов герцогов, пэров и маршалов, беседа текла, избегая двух опасных тем, затрагивать которые не решались даже самые смелые из них, новички, горячие головы, молодые лейтенанты, удерживаемые тайным инстинктом, двух тем: знамени и «Марсельезы». Разумеется, мой дед остался верен белому фла-

гу, а все офицеры, его окружавшие, служили под трехцветным знаменем. Представляете себе, какое воздействие оказывали на старого монархиста слова национального гимна, который, кстати, он часто притворно путал то с «Карманьолой», то, в насмешку, с «Фарандолой» или с маршем тореадора из оперы «Кармен». Позднее, много позднее, когда молодежь нашей семьи, о которой пойдет речь ниже, стала плевать на бывшее знамя и насвистывать «Марсельезу», я поймал себя на мысли, одновременно и печальной, и забавной, что вспоминаю о моем дорогом дедушке, который в свое время некоторым образом проложил им к этому дорожку.

Армии в нашей среде было суждено играть все большую роль. Мы с восторгом открывали для себя, что в ней сохранились кое-какие отблески старого режима. Только ведь и остались в напоминовение наших былых добродетелей, что армия и Церковь. Они по-прежнему словно напевали нам на ушко, в странно завуалированной форме, прежние мотивы. Когда страну стало раздирать «дело Дрейфуса», мы горячо выступили, сами понимаете, на чьей стороне, и вовсе не из-за маниакального антисемитизма, как думают поверхностно мыслящие люди, а только затем, чтобы защитить армию. В роли врага случайно оказался еврей. Что мы могли тут поделать? Мы даже и не утверждали, что именно он виноват. У нас же было так мало сведений. Мы полагали, что речь идет вовсе не о том, виноват он или нет. Мы просто считали, что перед обществом индивидуум должен отступить. Просто ему не повезло. Во Франции уцелели в ту пору только две иерархические системы: Церковь и армия. И вот некий безвестный капитан, не слушая увещаний, стал упрямо бороться, попытался разрушить самую прочную из

наших традиционных систем, под смехотворным предложением, что он не виноват. «А те, кто жизнь отдал? — говорил мой дед. — Те, кто с гордостью погиб на поле брани, разве они были не такими же невинными? Капитан Дрейфус должен был бы вести себя перед военным трибуналом как офицер при исполнении задания». И вот мы начали опять отдавать приказы французам. Дело Дрейфуса незаметно втянуло нас в споры о жизни общества, от которых мы раньше демонстративно самоустраивались. Это возвращение из внутреннего изгнания, к сожалению, получилось не слишком удачным. Приказы не были исполнены. Мы опять выбрали не тот лагерь. Над нами висело проклятие: после смерти короля, что бы мы ни делали, нам ничто не удавалось. Во вред ли нам или в нашу пользу следует добавить, что майор Мари Шарль Фердинан Вальсен Эстергази, наш дальний родственник, находился в родстве с Галантами, с Франко или Форхтенштейнами, с Сезнеками, Золиомами, потомками принцев Священной Римской империи, то есть с семействами, корни которых восходят к Крестовым походам, а может, и к Аттиле, с семействами, имевшими испокон веков право на титулы «Светлейший» и «Высокородный». Его долги нас мало смущали. Кстати, он как-то провел пару недель в Плесси-ле-Водрёе и довольно резко высказывался о своем товарище Альфреде Дрейфусе. Ему не нравился его взгляд, его голос, и вообще он был о нем невысокого мнения. И только через десять или двенадцать лет мы узнали, что майор Вальсен Эстергази был потомком наших кузенов лишь по женской линии. Последняя из французских представительниц рода Эстергази во время революции прижила незаконнорожденного сына от Жана-Сезара, маркиза де Жинесту, деда майора. Она воспользовалась

беспорядком, царившим в то время, и записала сына под знаменитой фамилией Эстергази. Никто так и не сумел окончательно убедить моего дела в том, что виноват в скандальном деле был именно Эстергази. До самого конца жизни у него оставались сомнения. Однако он испытал некоторое облегчение, когда узнал, что майор носил фамилию Эстергази не совсем законно. Утешение слабое. Но в его глазах более чем значительное.

С делом Дрейфуса возвращения к практической жизни у нас не получилось. Зато получилось несколько позднее в связи с другими обстоятельствами. Таковую вторую возможность нам опять предоставила армия. Кто говорит «армия», подразумевает «войну». А уж в этом-то деле мы были компетентны. И вот после очень долгой ссоры война вновь бросила нас в объятия Франции. Конечно, мы предпочли бы воевать вместе с Германией — где у нас было столько родни — против Англии и особенно против Соединенных Штатов, где мы почти никого не знали. Но мы начали понимать, что наше мнение мало кого интересует. Да и к тому же мы сражались в союзе с царем и святой Русью. Это было хоть каким-то утешением. Ну, и пора было, наконец, привыкать смиряться с обстоятельствами. На фронт мы отправлялись даже с чем-то вроде энтузиазма, вызванного, возможно, в некоей мере убийством Жореса.

Нетрудно понять, что заставляло нас выступать против страны, во многом для нас близкой. Нас вел к рубежам родины один из древнейших рефлексов нашей многовековой истории: собирание земель. Нам был гораздо ближе двор короля Пруссии и императора Германии, с его штабом, состоявшим из баронов и князей, с его пышной военной формой, чем наш режим адвокатов и ветеринаров. Нам луч-

ше дышалось в древних башнях на берегу Рейна, чем в кабачках Марны, нам ближе были тевтонские рыцари, чем игроки в шары или рыболовы с их удочками. Но каски с острым шишаком, длинные кожаные шинели, меховые шапки с изображением черепа на них бледнели, когда возникали другие, более заманчивые картины: синие дали Вогезов, их леса, горы и долины. Мы веками жили затем, чтобы завоевывать земли. Мы прошли по Востоку, по Италии, по берегам Рейна, по Центральной Европе, движимые страстью к земле. Эльзас и Лотарингия были для нас столь же священны, как и фермы Центрального массива, Русеты или Руаси. Франция была большим земельным владением, и мы существовали для того, чтобы расширять его границы. Падение Наполеона III не очень нас огорчило, а вот потерю земель, собранных нашими королями, мы тяжело переживали. Республика пленила нас потому, что даже в напудренных париках или в латах, даже в замках или в Версале, даже с нашими охотничьими угожьями и псарнями — и несмотря на наши мечтания, а иногда и благодаря им, — мы, тем не менее, всегда оставались крестьянами.

У моего деда брата убили на Марне, одного племянника — на Сомме, другого — в Дарданеллах, двух сыновей — под Верденом, а третий был ранен под Эпаржем и убит на Дамской дороге: то был мой отец. Ему было тогда тридцать пять лет, а мне — чуть больше четырнадцати. Он вроде бы втайне был на стороне Дрейфуса и вроде бы очень хотел жить. Но его взгляды и сама его жизнь не имели большого значения, поскольку он не был старшим и поскольку он носил нашу фамилию, что и оказалось самым существенным. Почести и привилегии не создают таких прочных связей, как жертвы и

траур. Благодаря смерти своих сыновей наша семья возвратилась в историю Франции, ставшую было для нас за последнюю сотню лет чужой страной. Вокруг нас вполголоса, но с гордостью говорили, что то один, то другой герой из нашей семьи напильником стирал со своих медалей слово «Республика» и изображение Марианны: умирать за них мы были согласны, но носить на груди отказывались. Ну да это не столь важно. Менее чем за четыре года дедушка прошел в шести похоронных процессиях, а затем присутствовал вместе со всей семьей на параде победы. Г-н Пуанкаре и г-н Клемансо пожимали ему руку. Никогда еще не видели мы так близко радикал-социалиста, активного борца крайне левого крыла республиканцев, пусть даже и образумившегося. Дедушка оставался монархистом, но теперь он стал любить Францию. Говорят, что некоторые даже видели, как он приветствовал трехцветное знамя и вставал при звуках «Марсельезы». Он смирился с гибелью своих детей не потому, что любил отечество. Но гибель сыновей примирила его с отечеством. «Надеюсь,— сказал он г-ну Дебуа,— я не становлюсь социалистом».

Нет, он не становился социалистом. Мало того, он с удивлением обнаружил новое лицо социализма: большевизм в России. В 1912 или 1913 году к нам в Плесси-ле-Водрёй приезжал дядюшка Константин Сергеевич, занимавший высокий пост при дворе, являвшийся председателем земства в Крыму, владевший двадцатью или тридцатью тысячами душ, которым он, кстати, сам дал вольную, владевший также бесчисленными отарами овец, числа которым он не знал и сам. Он заказал для себя, семьи и свиты два вагона, неслыханно роскошные по тем временам, которые прицепляли к разным поездам, пересекав-

шим Европу, побывал в Вене, Мариенбаде, Баден-Бадене и оказался в Ницце, где всегда было много русских и англичан. Там он снял на полгода, разумеется с октября по май, целых три этажа в самом большом отеле города: второй этаж — для прислуги, третий этаж — для него и его семьи, а четвертый этаж оставался пустым, чтобы не было никаких шумов. Дядюшка Константин Сергеевич был вылитый генерал Дуракин, главный персонаж одноименного произведения. Ничего удивительного: графиня де Сегюр, урожденная Ростопчина, наша тетушка, создавая портрет своего героя, ворчливого добродетеля, вдохновлялась внешностью деда дядюшки Константина, князя Александра Петровича.

Богатство Константина Сергеевича было баснословно. Его щедрость, его беззаботность и безумное расточительство — тоже. Он не имел ни малейшего представления о размерах своего богатства и раздавал танцовщицам, парикмахерам и горничным изумруды и бриллианты, которые нынче украсили бы любую коллекцию, любой государственный музей. По странному стечению обстоятельств дядя Константин был в наших глазах отъявленным либералом. У представителей русской ветви нашего семейства складывались странные отношения с домом Романовых. В 1825 году наши родственники были замешаны в заговоре декабристов против императора Николая, и некоторые из них были сосланы в Сибирь, а впоследствии именно нашей семье были обязаны своим спасением многие революционеры, социалисты и анархисты. В просторных салонах замка Плесси-ле-Водрёй вспыхивали бесконечные споры между дедом, легитимистом, и дядей Константином, преклонявшимся перед Англией и философами-либералами, перед конституционной мо-

нархией и режимом Луи Филиппа. Мы были за царя, а он защищал поляков. Он был за Мирабо и Тьера, упорствовал в восхвалении Талейрана. Мы же их терпеть не могли из чувства верности к традиционной монархии, которая еще царила в его стране и которую он пытался направить в сторону либерализма и чуть ли не демократии. Дедушка и он любили друг друга, но сходились только в одобрении франко-русского союза, имеющем, правда, у того и другого совершенно различные корни: русский родственник восхищался республикой, а мы — самодержавием.

Когда в 1917 году несчастный Керенский поколебал режим Романовых, дедушка разгневанно воскликнул: «Опять Константин натворил что-то!» Через несколько месяцев мы узнали — и весть эта до сих пор остается для нас кровоточащей раной, — что в Крыму уничтожены все, кто носил нашу фамилию. Князь Константин, его жена и его шесть детей, его семь внуков, его братья и сестры, двоюродные братья и человек десять прислуги были расстреляны у края могилы, которую их же самих заставили выкопать. Начали с самых маленьких, с двухмесячной Анастасии и полуторагодовалого Александра. Дядя Константин видел, как падали в лужи крови его родные, и умер последним, вместе со старым кучером, которого мы прозвали Тарасом Бульбой и который четырем или пятью годами раньше, в своей кучерской крылатке с широким кушаком и меховой шапке, производил на нас в Плесси-ле-Водрѐе большое впечатление. От русской ветви нашего семейства остался в живых только один кузен, лишь потому, что оказался проездом у нас. Впоследствии, возможно, из унаследованной от предков любви к униформе и каске, он стал капитаном пожарной команды.



Последние слова князя были обращены к моему деду, которого он нежно любил, несмотря на их споры, и к свободному русскому народу: «Передайте Состену, что не все потеряно, что великая и сильная Россия возродится и что имя будущего — свобода». «Вот к чему приводит либерализм», — вроде бы прокомментировал мой дед.

Больше года получали мы об этой трагедии только обрывочные и противоречивые слухи. От расправы уцелел только сын Тараса Бульбы. Ему удалось бежать и спрятаться, а потом добраться до Константинополя. В конце весны 1919 года он приехал в Плесси-ле-Водрёй. В тот вечер в замке устраивали торжественный обед и бал, первый после траура по погибшим на войне. Дедушка как раз только что пригласил на вальс одну из кузин д'Аркур или Ноай, когда дверь зала распахнулась и вошел господин Дебуа, а за ним появился грязный, взлохмаченный юноша в отрепье. То было явление самой истории, которую мы не узнали: слишком далеко отошли мы от нее, слишком ослабили некогда тесные связи между ней и нами. Оркестр замолк, наступила тишина. Дед недовольно повернулся к интенданту с немым вопросом. Тот пробормотал несколько слов и отступил за спину незнакомца. Борис выступил вперед, поклонился и быстро заговорил с сильным славянским акцентом. Пораженные присутствующие замерли, обступив юношу в том самом зале, где еще совсем недавно так шумно веселился дядюшка Константин. «Господин герцог, — сказал юноша, — князь погиб. Он велел мне сказать вам, что не все еще потеряно и что у будущего название — свобода». Необычными были эти слова, прозвучавшие в Плесси-ле-Водрёе. Нужна была великая катастрофа, чтобы осмелиться произ-

нести их в присутствии деда. Сын Тараса Бульбы оказался мальчиком удивительно смелым и умным. Дедушка обучил его французскому языку и дал денег для продолжения учебы. Результаты оказались блестящими. Менее чем за двадцать лет он стал одним из крупнейших физиков своего времени. Работал с Луи де Бройлем и Жолио-Кюри, а в 1961 году сын Тараса Бульбы, профессор Колледжа Франции, командор ордена Почетного легиона, был единогласно избран членом Академии наук. Если бы дедушка дожил, он наверняка был бы удивлен, взволнован и поражен новыми временами, которые, кстати, и сами уже стали проявлять явные признаки одышки и истощения. Смелость и новшества, которым мы не переставали удивляться, уже погружались в прошлое. А через два или три года, накануне своей отставки, Никита Хрущев пригласил в Москву делегацию Французского Института. В числе других поехал и Борис. Его радушно приняли его бывшие земляки. Они вместе пили водку, поминая Ивана Грозного, Петра Великого, товарища Ленина и вместе проливали горячие и сладкие слезы по поводу судьбины старой России. Чтобы помешать моему дедушке размышлять об истории, Всевышний в своей великой благости призвал его к себе.

Великая Первая мировая война привела не только к примирению моего семейства с Францией и к падению Российской империи. Она привела также к распаду другой монархии и династии, всегда игравшей важную роль в истории нашей семьи: династии Габсбургов и Австро-Венгрии. Ненавидя орлеанистов, мой прадед, чтобы не служить Луи Филиппу, во время июльской монархии в течение четырех лет носил белую униформу австрийской армии. Он жил, тогда в роли оккупанта, в Венеции,

где влюбился в итальянскую графиню, чей готический дворец возвышался над Большим каналом, между мостом Риальто и площадью Святого Марка, почти напротив академии. Его романтические приключения вдохновили, уже в наши дни, Лукино Висконти на один из его знаменитых фильмов, «Чувство», где в персонаже любовника Алиды Валли выведен отец моего дедушки.

Австро-Венгрия, подобно России и Германии, тоже была страной, где мы чувствовали себя как дома. Для нашего семейства, как и для Талейрана, чьи взгляды мы в общем и целом разделяли. Австрия была еще палатой пэров Европы. Крах ее поверг нас в ужас. То, что появилось на ее развалинах — Чехословакия, новая Венгрия, огромная Югославия, — было нам абсолютно чуждо. Святое неведение порой идет дальше компетентности и таланта. Дед мой, ничего не знавший, предсказал грядущие в недалеком будущем катастрофы: крушение Срединной империи в Китае, крушение Двуглавой монархии и всего того мира, ушедшего в небытие, который столько раз сражался против славян и турок, справлял столько праздников под знаком двух согласных, так нами любимых: «K und K — Kaiserlich und Königlich», — императорский и королевский. Вместе с Габсбургами погибла частица нашего сердца и нашего прошлого. Вместе с тем война помогла нам вновь найти Францию, наше отечество. Она же была причиной потери трех других родных стран: Германии, нашего поверженного противника, святой Руси, утонувшей в крови, и Австро-Венгрии, разорванной в клочья. Победы в еще большей мере, чем поражения, способствовали исчезновению любимого нами мира. История, так долго помогавшая нам, перестала быть нашим союзником.

Но было и нечто похуже. Мы так любили прошлое, что охотно согласились бы отказаться от настоящего и будущего, если бы нам сохранили хотя бы память о прошлом. Республика отняла ее у нас путем введения обязательного обучения. Уже само обязательное начальное образование для всех достаточно раздражало нас, потому что могло сокрушить дорогие нам барьеры между кастами. Однако оно нам не нравилось еще и потому, что не только дети других сословий должны были ходить в школу, но также и наши собственные. В отличие от буржуазии, мы вовсе не дорожили образованием ни для чужих, ни для своих детей. Веками мы видели мир таким, каким хотели его видеть, и он подчинялся нашим законам. А тут писаки-лицеисты, профессора-радикалы и интеллигенты-социалисты захватили этот мир и заставляли нас приспособливаться к их меркам и правилам, прежде чем выпустить нас в жизнь. «Не знаю,— говорил мой дед,— какое будущее ждет моих детей. Но хотелось бы хотя бы прошлое оставить им таким, какое мне нравится». Однако на горизонте, долгое время таком чистом, окрашенном в цвета верности и чести, уже забрезжили новые ценности, к которым мы не были подготовлены: правда и свобода.

Свободу мы ненавидели. Мы ее ни во что не ставили. Для нас она была связана с бунтом, с правом выбирать, с индивидуализмом и анархией. Пока власть была в наших руках, мы относились к свободе с недоверием и презрением. «Что касается терпимости, то для нее есть специальные дома»,— любил повторять мой дед. Только под сильным давлением либералов и социалистов мы бывали вынуждены тоже, в свою очередь, ссылаться на столь ненавистную нам свободу. Нам по-прежнему было

трудно признать ее в качестве принципа. Мы апеллировали к ней лишь из тактических соображений. Я слышал, что это именно моему делу принадлежит знаменитая фраза: «Я требую свободы во имя ваших принципов и отказываю вам в ней во имя моих принципов». Мы немного стыдились прибегать к демагогии и к свободе в наших попытках вернуться к истинным источникам незыблемого вечного и как бы лишь ненадолго нарушенного порядка. Но только вот разве был у нас выбор? В извращенном мире, где все пошло прахом, мы пользовались свободой лишь для того, чтобы восстановить власть. Поскольку заблудшие овцы своим количеством, силой и хитростью навязывали нам нестерпимую терпимость, приходилось пользоваться свободой, чтобы восстанавливать истину в море лжи.

Свобода была вопросом тактики. Истина же ставила много других проблем. Полагаю, что их можно свести к одной провокационной формуле: истина — это мы. Боюсь, что я немного преувеличил. Скажем иначе: она принадлежала частично Богу, а частично нам. С самого начала этих воспоминаний о временах минувших две области, два созвездия, два коктейля из реальности и мифов смущали меня одновременно и своим мощным присутствием, и своей двусмысленностью. Я не говорю здесь ни о нравах, ни о честности, ни об уме, ни о любви к людям. Все это изменилось, но мы чувствовали себя уверенно в более или менее однородных системах, где нам было легче чувствовать свое превосходство. Что сегодня труднее всего объяснить, поскольку нам и раньше тут не просто было разобраться, так это наши взаимоотношения с деньгами и с Богом. О деньгах я уже говорил, и к этой теме мы еще вернемся. Поговорим же сейчас немного о Боге.

Мы не были чрезмерно набожными. Слишком много мы знали пап, кардиналов, епископов, равно как и святых, слишком много их вышло из нашей среды, и поэтому мы смотрели на них с некоторой долей фамильярности. Эта фамильярность не мешала нам относиться к ним с уважением, почтительностью, преклоняться перед ними. Однако она предполагала сообщничество, некое соучастие в существовавшей системе и ее порядке. Мы уважали короля, поскольку он уважал нас. Мы уважали святейшего Папу Римского, поскольку он и собор кардиналов уважали нас. Мы были на равных. Между Церковью и нами, между Богом и нами существовали пакты о взаимопомощи. Мы были старшими сыновьями Церкви, помазанниками Господа. Все они нас защищали. В обмен мы их тоже защищали. Не хочу сказать, что это были отношения «ты — мне, я — тебе», ибо мы все же заранее и безоговорочно вверяли себя всем предписаниям Божественного провидения. Впрочем, в момент величайших катастроф становилось очевидным, что Церковь выделяла нас из толпы, относилась к нам иначе, чем к тем, кого презрительно называют паствой. Мы не смешивались с простыми прихожанами. Я не посмел бы сказать, что Господь стоял на одном уровне с нами, что он был нашим партнером, и уж тем более я бы не сказал, что он был нашим клиентом в римском значении этого слова, персоной, пользующейся нашей поддержкой. Нет. Конечно же, нет. Но он был у нас в долгу.

Однажды, будучи проездом в Риме, матушка моего деда должна была получить причастие из рук Папы Римского. За несколько минут до начала мессы некий кардинал сообщил ей, что Папа то ли болен, то ли занят, точно не знаю, но что старейшина собора кардиналов готов дать ей причастие.

Прабабушка отказалась со словами: «Для нас или Папа, или ничего».

Оставили след в нашей истории и взаимоотношения монархии с иезуитами, и галликанство, и янсенизм, и соперничество Боссюэ и Фенелона, и борьба Филиппа Красивого с тамплиерами, и оскорбление в Ананьи, где объявили о пленении Папы Бонифация VIII. А также святая Клотильда, обратившая в христианство своего мужа, короля франков, Хлодвига I, дуб Людовика Святого, папские зуавы, обращение аббата Ратисбонна на похоронах дядюшки Альбера де Ла Ферронэ в Сан Андреа делле Фратте. Все оставляло на нас своей след, будто на бархате или на очень ветхой ткани. Не было такого прошлого — французского, католического, римского, — которое бы не оставило на нас своей неизгладимой печати. Преобладал то один из них, то другие. Коекого из представителей нашего семейства угораздило впасть в неистовую религиозность, в мистицизм, в святошество. Иные отклонялись скорее в сторону Вольтера. Этот последний, в отличие от Руссо или Дидро, не попал в черный список французских литераторов. Некоторые из наших, например мой двоюродный прадед Анатолий, очень ценили Вольтера, в том числе и за его антиклерикализм. Но большинство не впадало в крайности. Элегантность и верность обязывали. Мы любили Бога, поскольку он явно любил нас больше, чем других. Ведь было бы крайне невежливо не обнаруживать чувства благодарности к тому, кто издревле так много делал для нас! Быть может, за нашей верностью Папе Римскому, за бесчисленными поцелуями, которыми мы усыпали перстень архиепископа, за воскресными обедами с настоятелем Мушу скрывалось хотя и смутное, но очень давнее опасение, что Бог станет

меньше любить нас, если мы будем меньше любить его слуг. И именно благодаря тому, что Елеазар избежал неволи у нехристей, благодаря тому, что единственный мужчина в семье не погиб под Азенкуром, благодаря тому, что двое из наших избежали гильотины, чего оказалось вполне достаточно, чтобы продолжить род, благодаря тому, что наш род стал пользоваться Господней милостью раньше Бурбонов, настоятель Мушу по воскресным вечерам обжирался нашими пышками под малиновым соусом, одновременно и легкими, и жирными, а посему нравившимися ему превыше всего остального. К концу своей жизни настоятель Мушу мне сам рассказывал, что, когда нашу семью постигало несчастье, например когда пришла в дом тетя Сара, когда женился дядя Поль, когда погиб под Верденом дядя Пьер, а на Дамской дороге погиб мой отец, вместо пышек под малиновым соусом по воскресным вечерам подавались на протяжении нескольких недель довольно безвкусные фруктовые салаты. Настоятель был уверен, и, возможно, он был прав, что это изменение в меню было своего рода мезтью. Быть может, наказывая настоятеля, мы наказывали Господа за то, что тот покинул нас. Когда дела налаживались или когда забвение притупляло боль, наше благочестие вновь одерживало верх. Мы прощали Господу Богу. Мы лобызали наказавшую нас руку. И настоятель Мушу вновь получал свои пышки.

Разумеется, мы никогда не переставали воздавать соответствующие почести самому Господу Богу. Мессы, вечерни, крестные ходы, шествия 15 августа или в день Тела Господня, почитание Богоматери — «Аве, Мария»... или «Месяц Марии, месяц май, самый прекрасный из всех...» — являлись такой же частью нашей жизни, как псовая охота и семейные



портреты. Но дело тут было не в набожности или не только в набожности. Это была парадная сторона нашей жизни. Мы показывали пример другим. Пример играл в нашей жизни парадоксальную и важнейшую роль. Парадоксальную, поскольку мы не трудились. А важнейшую потому, что мы делали все лучше других. Все смотрели на нас. Подражали нам. То, что делали мы, было хорошо. А то, что мы не делали, было плохо. «Ведите себя достойно. На вас смотрят» — таков был лейтмотив, передаваемый детям из поколения в поколение. Мы были возможно гордецами? Я не уверен в этом. Мы были, скорее, людьми скромными, придавленными грузом своего величия. И Бог был частью этого величия. И этой придавленности. Опускаясь перед ним за колени, мы становились еще величественнее. Что касается смирения, то тут мы не боялись никого. Мы падали в прах, а Господь, распознавая своих, брал нас за руки и возносил до себя.

Многие в своих суждениях о нас очень и очень ошибались. Они обвиняли нас в лицемерии. Но лицемерить — это значит притворяться, маскироваться, выставлять напоказ чувства, которые не испытываешь, и скрывать истинные свои чувства. Мы же ничего не скрывали и никогда не притворялись. Те, кто не верил в Бога, не стеснялись говорить об этом. Остальные готовы были, если надо, за него умереть. Большинство из нас верили в Бога изо всех сил. Некоторые были скептиками и ели по пятницам скоромное, но потом все же умирали в благочестии. Так что мы, в общем и целом, были верующими людьми. И как верующие люди мы проявляли упорство, смирение, порой склонность к безумным поступкам, порой непонимание происходящего и всегда — непреклонность. Как нам было не верить в Бога, сделавшего нас такими, ка-

кими мы стали? Вознося ему молитвы, посвящая ему наши благие дела и благие порывы, мы знали, что он примет их и будет продолжать заботиться о нас. Усомниться в Боге означало бы отречься от самих себя. Об этом не могло быть и речи.

Благодаря чудесной встрече мы открыли для себя классический порядок, разум великого века, Декарта, о котором почти ничего не знали. Для нас Бог был прежде всего гарантией всеобщей уверенности, замковым камнем свода всего здания, на вершине которого, с Божьей помощью, находились мы. Бог все сотворил, и, продолжая и дальше творить, он постоянно поддерживал незыблемый порядок вещей и живых существ. Не верить в Бога означало бы исключить себя из вселенной, предаться безумию, ненужной и заведомо осужденной ярости. Мы считали, что атеист не может ничего понять ни в устройстве вселенной, ни в истории человечества, ни, разумеется, в морали, ни в геометрии. Почва должна была уходить у него из-под ног. Мы же шагали под всевидящим Господним оком, имея его благословение и выполняя его волю. Наша заслуга тут была невелика, поскольку он сам желал нашего величия.

Это величие могло стоить дорого. Не из лицемерия, а только, если вы так уж настаиваете, из гордыни, мы, возможно, были фарисеями. Но ведь в фарисействе порой присутствует какая-то доля героизма. Несмотря на отдельные проявления своеволия, несмотря на настоятеля Мушу с его пышками под малиновым соусом, воля Бога была для нас священной. Мы могли удивляться ей, когда она нам не очень подходила. Случалось, что мы протестовали против тех его решений, которые нам наносили ущерб. Ну и пусть: мы заранее им подчинялись. Де-

визом семейства было: «Услады Божьей ради». Слова эти сохранились на серебряных подносах и стаканчиках, на многочисленных книгах, на многих зданиях и, в частности в Риме, по-французски, над входом в часовню Сан-Джованни-ин-Олео, воздвигнутой кардиналом с нашей фамилией в том месте, где, по преданию, идущему от Тертуллиана, святой Иоанн Евангелист вышел невредимым из испытания кипящим маслом. Даже сейчас еще можно видеть, в двух шагах от красивейшей церкви Сан-Джованни-а-Порта-Латина, это свидетельство римского прошлого нашей семьи. В каком-то смысле девиз этот нас устраивал, поскольку на протяжении веков услада Божья не без помощи больших батальонов работала на нас. Важно было, естественно, помешать Всевышнему повернуть свою милость против нас или потерять сноровку. Однозначно принималось на веру, что услада Божья должна была служить нам. Впрочем, мы ведь тоже были пленниками системы. мироустройство предполагало смерть детей, страдания, горе, возможность разорения, наличие радикал-социалистов во Франции и большевиков в России. Мы принимали все это как солдаты, безропотно и без колебания. Формула «воины Господа» представлялась нам прекрасной. Не уверен, что выражение «армия и церковь» передает все ее величие. Надо было не только сражаться, но и соглашаться. Достигать победы путем послушания. Полагаться на Господа, поскольку за ту тысячу лет, что он занимался нами, он не раз доказывал свою лояльность.

Чувство семьи, любовь ко Всевышнему, определенное доверие к порядку вещей способствовали развитию у нас веры в свободную волю и чувства ответственности. Ответственность лежала на Боге. Это он принимал все решения. Ну а свобода, что за вздор!

Каждый зависел от своего прошлого, от своих воспоминаний, от незримого присутствия ушедших в иной мир, от груза традиций. Нечто похожее на марксизм, в котором экономическая необходимость и призыв к будущему оказались как бы замененными моральными обязательствами, шепотом исчезнувших поколений и навязчивыми мыслями о прошлом.

Таким образом Бог делил с нами ответственность за истину. К сожалению, общаться с ним было довольно трудно. Излияние чувств, прямой контакт с Библией, протестантское общение с глазу на глаз — известно к чему ведут все эти проявления гордыни высоко мнящего о себе человека: к личному мнению, к индивидуализму, к разгулу толкований, к критическому анализу, к сомнению и анархии. Больше всего мы опасались двух ужасных монстров по имени «сомнение» и «анархия». В том, что касается нравов, Церкви, политики и искусств, мы были за определенность и за организованность. Нас вполне устраивали пирамиды, обелиски, Святой Дух, Святой Отец, принцип единоначалия, семья, природа. А вот спираль, демократия, гомосексуализм, диалектика, символизм, импрессионизм, современное и абстрактное искусство, Андре Жид, а до него Ренан не вызывали у нас ничего, кроме отвращения. К счастью, божественная истина выражалась в вещах осязаемых, недвусмысленных, неизменно прочных, становящихся все прочнее, неподвластных времени и называемых воспоминанием и традицией. Поскольку всем распоряжался Бог, который предоставил истории развиваться так, как она развивалась, история была хорошей. У истины было свое лицо. И искать его надо было в прошлом.

Но вот и в самом прошлом все вдруг усложнилось, усложнилось из-за случившейся катастрофы.

До 1789 года мы были гегельянцами. Мировая история была Божьим судом. А в 1789 году случилось нечто ужасное, провозвестниками чего были Лютер, а может, еще даже Галилей, случился бунт человека против богоугодной истории. От этого наша задача стала намного труднее. До революции мы были за историю и за Бога, поскольку, согласно святому Августину, святому Фоме и Боссюэ, Бог и история сливались в одно неразрывное целое. Тогда как после революции мы были по-прежнему за Бога, но против истории. То была битва света и тьмы, преисполненная тревоги и страха.

История была для нас священна, но мы все время занимались ее исправлением. Мы снова и снова вводили в нее понятия Бога, семьи, преемственности, вечности — всего того, что безумцы хотели выбросить из нее. И мы ее подправляли. Нам еще удавалось опираться на нее. Постепенно она отходила от действительности, от эволюции умов, от развития науки. Ну и пусть. Мы жили в истинной истории, опираясь на истинные ценности, на истинные традиции, а не на те, которыми жили прочие люди. Мы жили в реальной стране, а не в той, где происходили республиканские выборы, где жили господа Гамбетта, Блюм и Даладье. Ритм истории нарушился, как нарушилось что-то в смене времен года, как и нарушилось что-то в добром старом климате, из-за чего сейчас в июле вдруг начинаются дожди. Настоящее время перестало готовиться к тому, чтобы завтра превратиться в прошлое, которое еще только собирается наступить. Стало совсем другим. Ошибочным, чудовищным. И будущее тоже очень изменилось. Теперь стоило больших усилий напрямую связывать будущее, увы, еще далекое, с прошлым, уже, увы, тоже далеким. Настоящее же оказалось

взятым в далеко отстоящие друг от друга зловещие скобки. Мы жили в истории, освященной Богом и семейными традициями, а вне нашего круга нас считали сумасшедшими рыцарями, помешанными на мифологии прошлого.

Истина не имела ничего общего с тем, что подсказывали наблюдения, опыт, наука, диалог. Декарт стал от нас куда-то удаляться. Мы были картезианцами благодаря основополагающей концепции божественной гарантии. Но в то же время мы не были таковыми, так как в поисках истины отрицали роль опыта и даже ума. Для нас истиной была история, которую сотворил бы Бог, с нашей помощью разумеется, если бы люди в своем заблуждении не надоедали ему понапрасну, если бы они не мешали бы ему. Разумеется, Бог был всемогущим. Только по доброте своей, а может, и из-за некоторой своей слабости он был чересчур уступчив, за что мы его немного осуждали. Но грядущее пробуждение обещало быть ужасным. Он испытывал людей, готовясь однажды покарать их. А вот нас он должен был посадить по правую руку от себя, потому что мы не сомневались. Ни в Господе, во-первых. Ни в себе, во-вторых. Именно во избежание сомнений мы и решили не размышлять.

Подобное представление об истине, разумеется, препятствовало использованию нами либеральных, научных методов республиканского обучения. Помню, как возмущался мой дедушка учителями, нанесшими столько вреда, как он возмущался школьными программами или произведениями историков вроде Матъеза, Олара, Гиньбера, Мишле, Ренана, Мале, Жюля Изаака и прочих им подобных. Они компрометировали не только будущее, но и прошлое. Всем этим республиканцам, социалистам

и атеистам мало было заниматься безумными предсказаниями и своей зловредной политикой, мало было устраивать выборы и пичкать людей своей омерзительной литературой. Это куда еще не шло. Но им не надо было прикасаться к двум вещам: к армии и к истории. Потому что и в той, и в другой отражалось прошлое, потому что, по нашему убеждению, и та и другая подготавливали будущее. Мой дед испытывал горькую радость, наблюдая перехлесты университетских профессоров, ученых и тех, кого тогда только еще начинали называть «преподавательским составом». Ведь все эти люди критиковали старый режим и превозносили годы террора. И даже ставили под сомнение существование Божественного провидения и Иисуса как исторической личности. Дедушка задавался вопросом, до чего же они так дойдут в своих безумствах. Возможно, теперь уже конец был близок. Все ведь зашло настолько далеко, все достигло такой степени неприличия, что реакция становилась прямо-таки неизбежной. В моменты оптимизма, перемежавшимися у него при виде деградации умов и нравов с приступами уныния, дедушка мечтал о временах, когда у всех вдруг откроются глаза, когда порядок вещей восстановится вокруг Церкви и трона, когда каждый найдет свое место в обществе и когда, разумеется, мы вновь обретем наше место, как всегда, в первых рядах, когда офицеры и солдаты, ремесленники и крестьяне, художники и литераторы почувствуют свою солидарность в «организованном разнообразии» и когда вновь будет в почете наша фамилия.

Мой дед буквально приходил в бешенство от обязательного обучения этой искаженной истории, в которой имена наших святых и маршалов упоминались походя и зачастую сквозь зубы. Даже в при-

личных домах, даже среди преподавателей христианских школ и лицеев, даже в религиозных организациях и иезуитских колледжах постепенно воспринимали новую моду и начинали говорить о Дантоне, Робеспьере и Марате, словно не лучше было бы для этих несчастных, если бы их имена навсегда канули в реку забвения. Помню, как гневался дедушка, увидев, что в учебнике Мале и Изаака ни разу не упоминалась наша фамилия, тогда как трижды (как говорил дед, «столько же, сколько раз отрекался Петр») упоминалась презренная фамилия Мишо де ла Сомм. Французская революция уже не изображалась как эпизод, поспешно взятый в скобки возвращением короля через двадцать один или двадцать два года после смерти Людовика XVI. Наоборот, ее представляли как одну из вершин в истории Франции и даже хуже того: как начало нового времени. Моего деда удручало то, что изучение революции совпадало по времени с созреванием у шестнадцатилетних подростков политического сознания и что от знания этого периода истории зависела оценка на экзамене по истории, из которой исключены были Возрождение, контрреформация, Великий век, прямые Капетинги и италийские войны. За что же тут было уцепиться, коль скоро разрушительное безумие не оставляло в покое даже то, что нельзя трогать по определению, то, что, будучи завершенным, стало неприкосновенным: прошлое и покойных? Да, все менялось. И современность тоже, хотя это было и не столь важно, ибо мы привыкли к испытаниям, требующим мужества и человеческих жертв. Однако, что гораздо важнее, менялось и будущее. И наконец, менялась история, что представляло собой настолько чудовищный скандал, пережить который было довольно трудно.



Чтобы полностью изолироваться от разлагающегося внешнего мира, дед мой собирался последовать примеру Ноя, чей ковчег выдержал натиск волн Всемирного потопа. Плесси-ле-Водрёй превращался в оборонительное сооружение, в крепость, в редут. И в то время как представители семейства Реми-Мишо разъезжали по всему миру на автомобилях, на поездах, на пароходах, а затем и на самолетах, мы замыкались в самих себе. В конце концов даже люди, принадлежащие к той же породе, что и мы, стали считать нас большими оригиналами. Общались мы главным образом с очень верными старыми слугами, которые совсем как мы покачивали головами, вспоминая былые замки из пралине и растопленного сахара. Однажды, когда тесть дяди Поля рассказывал об одной из фантастических своих охот, как о далеком и элегантном прошлом, охот с целой армией слуг, подбрасывавших дичь чуть не к ногам гостей, я услышал, как дедушка проворчал в своем углу: «На его месте я бы не хвастался этим». Помню также, как прекрасным летним днем мы получили открытку от все того же Альбера Реми-Мишо, совершавшего путешествие в Эгейском море. Альбер Реми-Мишо радостно перечислял имена знатных персон, с которыми завязал знакомство на своей яхте. «Я виделся с Этьеном де Бомоном, с Монтестью и Греффюлями, с очаровательным Фордом-младшим...» Это было уж слишком. Дедушка ответил ему на Санторин до востребования открыткой с изображением скачущего оленя: «Я видел Жюля. Он шлет вам горячий привет!» «Какой Жюль? — спрашивал тот в письме, присланном с острова Миконос. Если это Жюль де Ноай, то передайте ему дружеский привет. А может, это Жюль де Полиньяк, с которым мы вместе

ехали три недели назад из Лондона в Монте-Карло?» Дедушка разорился на телеграмму: «Оставляю Вам всех Ваших Жюлей, прочих тоже. Себе оставляю моего Жюля, сторожа охотничьих угодий Плесси-ле-Водрёя вот уже сорок семь лет».

Надо сказать, что Жюль играл большую роль в нашей семье, из поколения в поколение, начиная с Реставрации. Альбер Реми-Мишо отомстил, распространив придуманную им историю про моего прадеда. Два дня весь Париж смеялся. Якобы мой прадед и Жюль, еще молоденький, а может, отец Жюля, которого тоже звали Жюлем, поднялись вместе на самую высокую башню Плесси-ле-Водрёя. Дело было летом. Солнце освещало картину, так любимую моей бабушкой. Были видны и Русета, и Руаси, и Вильнёв, привольно раскинувшиеся среди лесов и полей. Речки и озера сверкали как зеркала.

— Жюль,— будто бы произнес мой прадед,— открой глаза.

— Открыл, господин герцог.

— Что ты видишь?

— Вижу деревья, озера, луга, фермы.

— А еще что?

— Вижу холмы вдаль, еще леса, опять озера и насколько глаз хватает — луга и деревья.

— Так вот, Жюль, все это мое. А теперь, Жюль, закрой глаза.

— Закрыв, господин герцог.

— Что ты видишь?

— Ничего, господин герцог.

— Так вот, Жюль, это — твое.

В конце концов эта басня дошла до ушей моего деда. Он только пожал плечами. «В этой выдумке — весь подлый стиль буржуазного вранья. До чего же глупо! Ведь все, что наше, принадлежит и Жюлю».

Конечно, дед преувеличил. Но, может быть, какая-то доля правды в этом все же была. Не открыв еще для себя человечества, мы старались, как могли, быть полезными своей семье. И она как-то функционировала. А Жюль в большей степени, чем кто-либо другой, был ее неотъемлемой частью.

Так боролись мы, отстаивая свои пяди земли, с окружающим миром и временем. Мы организовывались. На каждом шагу старались обнаружить какие-то остатки традиций, чтобы жадно зацепиться за них. Мы служили только в кавалерии, поближе к лошадям, более верным воспоминаниям о прошлом, чем люди. Старики-священники, ничего не знавшие об ужасной действительности, поскольку Господь миловал их, не открыв им глаза на современность, рассказывали подрастающему поколению о подвигах римлян и наших королей, рассказывали про Шарлотту Корде, про возглавившего когда-то восстание в Вандее Франсуа Атанеза де Шаретта, про справедливого короля Святого Людовика, про простодушного Генриха IV, про храброго рыцаря без страха и упрека Баяра, про победы маршала Тюренна. Мы не интересовались презренной современностью и безнадежным будущим. Взоры наши были обращены в прошлое, поскольку мы боялись, как бы и оно не начало вдруг исчезать, таять, стираться в памяти и ускользать от нас.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Первая часть .....	7
I. Елеазар, или Седая древность .....	7
II. Брешь .....	39
III. От сына Тараса Бульбы до пышек настоятеля Мушу .....	56
IV. Часовщик из Русеты и двойная жизнь тетушки Габриэль .....	84
V. Месть Жан-Кристофа .....	133
Вторая часть .....	175
I. От тевтонских рыцарей до сестры вице-консула .....	175
II. Проститутка с Капри .....	214
III. Тяжелый день .....	252
IV. Цирковая наездница Полина и братья-враги .....	281
V. Отсрочка .....	324
Третья часть .....	351
I. Письмо императора Карла V .....	351
II. Вечерний ветер .....	414
III. После потопа .....	481
IV. Изгнанник .....	527
V. Пасхальное воскресенье .....	567

*Литературно-художественное издание*  
*Серия «Проза нашего времени»*

**Д'ОРМЕССОН ЖАН**

## **УСЛАДЫ БОЖЬЕЙ РАДИ**

РОМАН

*Перевод с французского В. А. Никитина*

Ведущий редактор серии *Н. В. Комарова*

Литературный редактор *Т. Н. Ледина*

Художественное оформление серии: *А. Б. Архутик*

Корректор *О. В. Круподер*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.10.08 г.

Формат 80×100/32. Гарнитура «CharterС».

Печ. л. 18,5. Тираж 2000 экз. Заказ №

**ООО «Издательство «Этерна»**

115477, Москва, Кантемировская ул., д. 59а

Тел./факс 755-81-23

E-mail: [info@eterna-izdat.ru](mailto:info@eterna-izdat.ru)

[www.eterna-izdat.ru](http://www.eterna-izdat.ru)